



ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ



ALEXANDRE DUMAS

LES QUARANTE-CINQ



Illustrés par J.A. Beucé, F. Philippoteaux,
D'Alphonse de Neuville

АЛЕКСАНДР ДЮМА

СОРОК ПЯТЬ



ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ
Рисунки Жан-Адольфа Боса, Феликса Филиппоте
Альфонса де Невилля



Издательство АЛЬФА-КНИГА
Москва, 2012

УДК 821.161.1
ББК 84(4Фра)я5
Д96

Перевод с французского
А. Кулишер и Н. Рыковой

Рисунок на переплете
С. А. Григорьева

Дюма А.
Д96 Сорок пять/Пер. с фр. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2012. — 787 с.: ил.— (Иллюстрированное издание).

ISBN 978-5-9922-1327-0

Сорок пять надежных телохранителей. Сорок пять преданных гасконских сердец, готовых прикрыть своего сюзерена от любой опасности. Сорок пять человек, в преданности которых король может быть уверен. Много это или мало, если учесть, что рвущиеся к власти Гизы содержат целую армию наемных убийц, короля ненавидят и презирают собственные подданные, а в тени неприметной Наварры разворачивается мощь скромного «королька», как называет он себя сам, — Генриха Бурбона, которому еще только предстоит называться Великим. Но пока... пока этих скромных сил, неприметно направляемых королевским шутком по имени Шико, хватает, чтоб удержать Валуа на шатающемся под ним троне.

В настоящем издании воспроизводится комплект из 116 иллюстраций известных французских художников Жан-Адольфа Боса, Феликса Филиппоте, Альфонса де Невилля.

УДК 821.161.1
ББК 84(4Фра)я5

ISBN 978-5-9922-1327-0

© Н. Рыкова. Наследники, 2012
© Художественное оформление,
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2012



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ





Глава I СЕНТ-АНТУАНСКИЕ ВОРОТА



октября 1585 года цепи у Сент-Антуанских ворот, вопреки обыкновению, были еще натянуты в половине одиннадцатого утра.

Без четверти одиннадцать отряд стражи, состоявший из двадцати швейцарцев, по обмундированию которых видно было, что это швейцарцы из малых кантонов, то есть лучшие друзья царствовавшего тогда короля Генриха III, — показался в конце улицы Мортельри и подошел к Сент-Антуанским воротам, которые тотчас же отворились и, пропустив его, захлопнулись. За воротами швейцарцы выстроились вдоль изгородей, окаймлявших пригородные участки. Одним своим появлением они заставили откатиться назад толпу крестьян и небогатых горожан из Монтрея, Венсена или Сен-Мора, которые хотели проникнуть в город еще до полудня, но не смогли этого сделать, ибо, как мы уже сказали, ворота оказались запертыми.

Если правда, что само скопление людей естественно вызывает беспорядок, можно было бы подумать, что, выслав сюда отряд швейцарцев, господин начальник городской стражи решил предупредить беспорядок, который мог возникнуть у Сент-Антуанских ворот.

В самом деле, толпа собралась большая. По трем сходящимся у ворот дорогам ежесекундно прибывали монахи из пригородных монастырей, женщины верхом на ослах, сидевшие по-дамски, спустив обе ноги по одну сторону вьючного седла, крестьяне в повозках, еще увеличивавших и без того значительное скопление народа, застрявшего у заставы из-за того, что ворота были, против обыкновения, заперты. Все нетерпеливо задавали друг другу вопросы, отчего возникал своеобразный гул на манер генерал-баса: порой из него вырывались отдельные голоса, поднимающиеся до октавы, угрожающей или жалобной.

Кроме стекавшегося со всех сторон народа, который стремился попасть в город, можно было заметить отдельные группы людей, по всей видимости, вышедших из города. Вместо того чтобы устремлять свои взоры внутрь Парижа через отверстия в заставах, эти люди пожирали глазами горизонт, где возвышались башни монастыря Св. Иакова и Венсенской обители и Фобенский крест, как будто по одной из трех веерообразно расходящихся дорог к ним должен был сойти некий Мессия.

Эти кучки людей в немалой степени напоминали и спокойные островки, поднимающиеся из вод Сены, в то время как бурлящие и играющие вокруг них волны отрывают от берега то кусок дерна, то старый ивовый ствол, который сперва болтается некоторое время в водовороте, а под конец уносит течением.

Эти группы, — мы так настойчиво упоминаем о них, ибо они заслуживают нашего пристального внимания, — состояли в большинстве своем из парижских горожан, одетых в плотно прилегающие к телу короткие штаны и теплые куртки, ибо — мы забыли об этом сказать — погода стояла холодная, дул резкий ветер и тяжелые, низкие тучи словно стремились сорвать с деревьев последние желтые листья, печально дрожащие на ветвях.

Трое из этих горожан беседовали или, вернее, беседовали двое, а третий слушал. Выразим нашу мысль точнее и скажем, что третий, казалось, даже и не слушал: все внимание его



...он тщательно закрывал широкой ладонью свое лицо, стараясь, видимо, быть сугубо осторожным, как человек, не желающий, чтобы его узнали.

было поглощено другим — он, не отрываясь, смотрел в сторону Венсена.

Займемся же в первую очередь им.

Стоя, он, вероятно, казался бы человеком высокого роста. Но в данный момент его длинные ноги, с которыми он, по-видимому, не знал что делать, когда они не проявляли положенной им активности, были подогнуты, а руки, тоже соответствующей длины, скрещены на груди. Прислонившись к изгороди,

где гибкие ветви кустарника служили ему хорошей опорой, он тщательно закрывал широкой ладонью свое лицо, стараясь, видимо, быть сугубо осторожным, как человек, не желающий, чтобы его узнали. Открытым оставался лишь один глаз между средним и указательным пальцами: из узкой щели между ними вырывалась острая стрела его взгляда.

Рядом с этой странной личностью находился какой-то маленький человечек, который, вскарабкавшись на пригорок, разговаривал с неким толстяком, еле сохранявшим равновесие на склоне того же пригорка; чтобы не упасть, толстяк то и дело хватался за пуговицу на куртке своего собеседника.

Это были два горожанина, которые вместе с сидящим на корточках человеком составляли кабалистическую троицу, упомянутую нами в одном из предыдущих абзацев.

— Да, мэтр Митон, — говорил низенький толстому, — говорю вам и повторяю, что сегодня у эшафота Сальседа будет — самое меньшее — сто тысяч человек народу. Смотрите: не считая тех, кто уже находится на Гревской площади или кто направляется туда из различных кварталов Парижа, смотрите, сколько народу собралось здесь, а ведь это всего лишь одни из ворот! Судите сами: всех-то ворот, если их хорошо сосчитать, — шестнадцать.

— Сто тысяч — эка загнули, кум Фриар, — ответил толстяк. — Ведь многие, поверьте, сделают, как я, и, опасаясь давки, не пойдут смотреть на четвертование этого несчастного Сальседа; и они будут правы.

— Мэтр Митон, мэтр Митон, поберегитесь! — ответил низенький. — Вы говорите, как политик. Ничего, решительно ничего не случится, ручаюсь вам.

И, видя, что собеседник с сомнением покачивает головой, он обратился к человеку с длинными руками и ногами:

— Не правда ли, сударь?

Тот, уже не глядя в сторону Венсена, но по-прежнему не отнимая ладони от лица, переменял прицел и избрал теперь предметом своего внимания заставу.

— Простите? — спросил он, словно расслышав только обращенные к нему слова, а не то, что предшествовало обращению и предназначалось второму горожанину.

— Я говорю, что на Гревской площади сегодня ничего не произойдет.

— Думаю, что вы ошибаетесь и произойдет четвертование Сальседа, — спокойно ответил длиннорукий.

— Да, разумеется, но, повторяю, из-за этого четвертования никакого шума не будет.

— Будут слышны удары кнута, хлещущего по лошадям.

— Вы меня не уразумели. Говоря о шуме, я имею в виду бунт. Так вот, я утверждаю, что на Гревской площади дело обойдется без бунта. Если бы предполагался бунт, король не велел бы украсить одну из лоджий ратуши, чтобы смотреть из нее на казнь вместе с обеими королевами и частью придворных.

— Разве короли когда-либо знают заранее, что будет бунт? — сказал длиннорукий и длинноногий, пожимая плечами с выражением снисходительнейшей жалости.

— Ого! — шепнул мэтр Митон на ухо своему собеседнику. — Этот человек весьма странно разговаривает. Вы его знаете, куманек?

— Нет, — ответил низенький.

— Так зачем же вы завели с ним разговор?

— Да просто чтобы поговорить.

— Напрасно: вы же видите, что он неразговорчив.

— Мне все же представляется, — продолжал кум Фриар достаточно громко, чтобы его слышал длиннорукий, — что одна из приятнейших вещей на свете — это обмен мыслями.

— С теми, кого знаешь, — это верно, — ответил мэтр Митон, — но не с теми, кто тебе незнаком.

— Разве люди не братья, как говорит священник из церкви Сен-Лэ? — проникновенным тоном добавил кум Фриар.

— То есть так было в начале времен. Но в такое время, как наше, родственные связи что-то ослабли, куманек Фриар. Если уж вам так хочется разговаривать, беседуйте со мной и оставьте в покое этого чужака, — пусть размышляет о своих делах.

— Но ведь вас-то, как вы сами сказали, я уже давно знаю, и мне заранее известно все, что вы мне ответите. А этот незнакомец, может быть, сказал бы мне что-нибудь новенькое!

— Тсс! Он вас слушает.

— Тем лучше. Может быть, он ответит. Так, значит, сударь, — продолжал кум Фриар, оборачиваясь к незнакомцу, — вы думаете, что на Гревской площади будет заваруха?

— Я ничего подобного не говорил.

— Да я и не утверждаю, что вы говорили, — продолжал Фриар тоном человека, считающего себя весьма проницательным, — я полагаю, что вы так думаете, вот и все.

— А на чем основана эта ваша уверенность? Уж не колдун ли вы, господин Фриар?

— Смотрите-ка! Он меня знает! — вскричал до крайности изумленный горожанин. — Откуда же?

— Да ведь я назвал вас раза два или три, куманек! — сказал Митон, пожимая плечами, как человек, которому стыдно перед посторонним за глупость своего собеседника.

— Ах, правда ведь, — сказал Фриар, сделав усилие, чтобы понять, и благодаря этому усилию уразумев, в чем дело. — Честное слово, правда. Ну, раз он меня знает, так уж ответит.

— Так вот, сударь мой, — продолжал он, снова оборачиваясь к незнакомцу, — я думаю, что вы думаете, что на Гревской площади поднимется шум, ибо если бы вы так не думали, то находились бы там, а вы, напротив, находитесь здесь... ах ты!

Это «ах ты» доказывало, что кум Фриар достиг в своих умозаключениях последних доступных его уму в логике пределов.

— Но вы-то, господин Фриар, раз вы думаете обратное тому, что, как вы думаете, думаю я, — ответил незнакомец, нарочно подчеркивая слова, которые обращавшийся к нему горожанин уже произносил и даже повторял, — почему вы не на Гревской площади? Мне, например, кажется, что предстоящее зрелище должно радовать друзей короля и они все должны там собраться. Но на это вы, пожалуй, ответите, что принадлежите не к друзьям короля, а к друзьям господина де Гиза и поджидаете здесь лотарингцев, которые, говорят, намерены вторгнуться в Париж и освободить господина де Сальседа.

— Нет, сударь, — поспешно возразил низенький, явно напуганный предположением незнакомца. — Нет, сударь, я поджидаю свою жену мадемуазель Николь Фриар: она пошла в аббатство Святого Иакова отнести двадцать четыре скатерти, ибо имеет честь состоять личной прачкой дома Модеста Горанфло, настоятеля означенного монастыря. Но, возвращаясь к суматохе, о которой говорил кум Митон и в которую не верю ни я, ни вы, как, по крайней мере, вы утверждаете...

— Куманек! Куманек! — вскричал Митон. — Смотрите-ка, что происходит.

Мэтр Фриар посмотрел туда, куда указывал пальцем его со товарищ, и увидел, что закрывают не только заставы, что уже весьма волновало все умы, но и ворота.

Когда они были заперты, часть швейцарцев вышла вперед и встала перед рвом.

— Как, как! — вскричал побледневший Фриар. — Им мало заставы, они теперь и ворота закрывают!

— А что я вам говорил? — ответил, бледнея в свою очередь, Митон.

— Забавно, не правда ли? — заметил, смеясь, незнакомец. При этом он выставил напоказ сверкающий между усами и бородой двойной ряд белых острых зубов, видимо, на редкость хорошо отточенных благодаря привычке пускать их в дело не менее четырех раз в день.

При виде того, что принимаются новые меры предосторожности, из густой толпы народа, загромождавшей подступы к заставе, поднялся ропот изумления и раздалась даже возгласы ужаса.

— Осади назад! — повелительно крикнул какой-то офицер.

Приказание было тотчас же выполнено, однако не без затруднений: верховые и люди в повозках, вынужденные податься назад, кое-кому в толпе отдавили ноги и помяли ребра. Женщины кричали, мужчины ругались. Кто мог бежать — бежал, опрокидывая других.

— Лотарингцы! Лотарингцы! — крикнул среди всей этой суматохи чей-то голос.

Самый ужасный вопль, заимствованный из небогатого словаря страха, не произвел бы действия более быстрого и решительного, чем этот возглас:

— Лотарингцы!!!

— Ну вот видите, видите! — вскричал, дрожа, Митон. — Лотарингцы, бежим!

— А куда бежать? — спросил Фриар.

— На этот пустырь, — крикнул Митон, раздирая руки о колючки живой изгороди, под которой удобно расположился незнакомец.

— На этот пустырь? — переспросил Фриар. — Это легче сказать, чем сделать, мэтр Митон. Никакого отверстия в изгороди я что-то не вижу, а вы вряд ли рассчитываете перелезть через нее, — она будет повыше меня.

— Попробую, — сказал Митон, — попробую.

И он удвоил свои старания.

— Поосторожнее, добрая женщина! — вскричал Фриар отчаянным голосом человека, окончательно теряющего голову. — Ваш осел наступает мне на пятки. Уф! господин всадник, осторожнее, ваша лошадь нас раздавит. Черт побери, друг возчик, ваша оглобля переломает мне ребра.

Пока мэтр Митон цеплялся за ветви изгороди, чтобы перебраться через нее, а кум Фриар тщательно искал какого-нибудь отверстия, чтобы проскользнуть низом, незнакомец поднялся, раздвинул просто-напросто циркулем свои длинные ноги и одним движением, словно всадник, прыгающий в седло, пере-

махнул через изгородь, да так, что ни одна ветка не задела его штанов.

Мэтр Митон последовал его примеру, порвав штаны в трех местах. Но с кумом Фриаром дело обстояло хуже: он не мог перебраться ни верхом, ни низом и, подвергаясь все большей опасности быть раздавленным напором толпы, испускал раздирающие вопли. Тогда незнакомец протянул свою длинную руку, схватил Фриара сразу за гофрированный воротник и за ворот куртки и, приподняв, перенес его на ту сторону изгороди, как малого ребенка.

— Ого-го! — вскричал мэтр Митон в восторге от этого зрелища, следя глазами за вознесением и нисхождением своего друга мэтра Фриара. — Вы похожи на вывеску «Большого Авессалома»!

— Уф! — выдохнул из себя Фриар, ступив на твердую землю, — на что бы я там ни был похож, но наконец-то мне удалось перебраться через изгородь, и лишь благодаря этому господину.

Затем, вытянувшись во весь рост, чтобы разглядеть незнакомца, которому он доходил только до груди, мэтр Фриар продолжал:

— Век Бога за вас молить буду! Сударь, вы истинный Геркулес, честное слово, это так же верно, как то, что я зовусь Жан Фриар. Скажи же мне свое имя, сударь, имя моего спасителя, моего... друга!

Эхо последнее слово добряк произнес со всем пылом глубоко благородного сердца.

— Меня зовут Брике, сударь, — ответил незнакомец, — Робер Брике, к вашим услугам.

— Вы уж, смею сказать, мне здорово услужили, господин Робер Брике. Жена благословлять вас будет. Но кстати, бедная моя женушка! О боже мой, боже мой, ее задавят в этой толпе. Ах, проклятые швейцарцы, они только и годны на то, чтобы давить людей!

Не успел кум Фриар произнести эти последние слова, как ощутил на своем плече чью-то руку, тяжелую, как рука каменной статуи.

Он обернулся, чтобы взглянуть на нахала, разрешившего себе подобную вольность.

То был швейцарец.

— Фы хотите, чтоп фам расмосшили череп, трушок? — произнес богатырского сложения солдат.

— Ах, мы окружены! — вскричал Фриар.

— Спасайся, кто может! — подхватил Митон.

Оба они, будучи уже по ту сторону изгороди, где ничто не преграждало им дороги, пустились наутек, сопровождаемые

насмешливым взглядом и беззвучным смехом длиннорукого и длинноногого незнакомца. Потеряв их из виду, он подошел к швейцарцу, которого поставили тут в качестве дозорного.

— Рука у вас мощная, приятель, не так ли?

— Ну та, сударь, не слапá, не слапá.

— Тем лучше, сейчас это важно, особенно если правда, что идут лотарингцы.

— Они не идут.

— Нет?

— Совсем нет.

— Так зачем же было запира́ть ворота? Я не понимаю.

— Та фам и не нужно понимать, — ответил швейцарец, расхохотавшись над собственной шуткой.

— Прафильно, труг, ошень прафильно, — сказал Робер Брике, — спасибо.

И Робер Брике отошел от швейцарца и приблизился к другой кучке людей, а достойный гельвет, перестав смеяться, пробормотал:

— Bei Gott ich glaube, er spottet meiner. Was ist das für ein Mann, der sich erlaubt, einen Schweizer seiner königlichen Majestät auszulachen? — Что в переводе означает: «Клянусь Богом! Кажется, он надо мною смеялся! Что за человек, осмелившийся насмеяться над швейцарцем его королевского величества?»

Глава II ЧТО ПРОИСХОДИЛО У СЕНТ-АНТУАНСКИХ ВОРОТ



дну из собравшихся здесь групп составляло довольно значительное количество горожан, оставшихся вне городских стен после того, как ворота были неожиданно заперты. Люди эти столпились возле четырех или пяти всадников весьма воинственного вида, которых, видимо, очень не устраивало, что ворота были на запоре, ибо они изо всех сил орали:

— Ворота! Ворота!

Крики эти, с еще большей яростью подхваченные всеми присутствующими, производили адский шум.

Робер Брике подошел к этим горожанам и принялся кричать громче всех прочих:

— Ворота! Ворота!

В конце концов один из всадников, восхищенный мощью его голоса, обернулся к нему, поклонился и сказал:

— Ну не позор ли, сударь, что среди бела дня закрывают городские ворота, словно Париж осадили испанцы или англичане?

Робер Брике внимательно посмотрел на заговорившего с ним человека лет сорока — сорока пяти. Человек этот вдобавок являлся, по-видимому, начальником трех-четырёх окружавших его всадников.

Робер Брике, надо полагать, оказался удовлетворен осмотром, ибо он, в свою очередь, поклонился и ответил:

— Ах, сударь, вы правы, десять, двадцать раз правы. Но, — добавил он, — не хочу проявлять излишнего любопытства, однако все же осмелюсь спросить вас, по какой, на ваш взгляд, причине принята подобная мера?

— Да, ей-богу же, — произнес кто-то из присутствующих, — они боятся, чтобы не скушали ихнего Сальседа.

— К черту! — раздался чей-то голос, — еда довольно паршивая!

Робер Брике обернулся в ту сторону, откуда послышался этот голос с акцентом, выдававшим несомненнейшего гасконца, и увидел молодого человека двадцати — двадцати пяти лет, опиравшегося рукой на круп лошади того, кто показался ему начальником.

Молодой человек был без шляпы, несомненно, он потерял ее в суматохе.

Мэтр Брике был по всем данным отличным наблюдателем, но вообще он ни в кого не вглядывался слишком долго. Поэтому он быстро отвел взгляд от гасконца, видимо не показавшегося ему стоящим внимания, и перевел его на всадника.

— Но, — сказал он, — ведь говорят, что этот Сальсед припешник господина де Гиза, значит, он не такое уж жалкое кушанье.

— Да ну, неужто так говорят? — спросил любопытный гасконец, весь превратившись в слух.

— Да, конечно, говорят, — ответил, пожимая плечами, всадник. — Но теперь болтают много всякой чепухи!

— Ах вот как, — вмешался Брике, устремляя на него вопрошающий взгляд и насмешливо улыбаясь, — вы, значит, думаете, сударь, что Сальсед не имеет отношения к господину де Гизу?

— Не только думаю, но даже уверен, — ответил всадник.

Тут он заметил, что Робер Брике сделал движение, означавшее: «А на чем основывается эта ваша уверенность?» — и потому тотчас же добавил:

— Если бы Сальсед был одним из людей герцога, тот, без сомнения, не допустил бы, чтобы его схватили или, во всяком случае, чтобы доставили из Брюсселя в Париж связанным по рукам и ногам, или, по крайней мере, попытался бы силой освободить пленника.

— Освободить силой, — повторил Брике, — было бы очень рискованным делом. Удалась бы эта попытка или нет, но уж раз она исходила бы от господина де Гиза, он тем самым признал бы, что устроил заговор против герцога Анжуйского.

— Господина де Гиза, — сухим тоном продолжал всадник, — такое соображение не остановило бы, я в этом уверен, и раз он не потребовал выдачи Сальседа и не защищал его, значит, Сальсед не его человек.

— Простите, что я настаиваю, — продолжал Брике, — но я ничего не выдумал. Сведения о том, что Сальсед заговорил, — вполне достоверны.

— Где он говорил? На суде?

— Нет, не на суде, сударь, во время пытки. Но разве это не все равно? — спросил мэтр Брике с плохо разыгранным протодушием.

— Конечно, не все равно, хорошее дело! Ладно, пусть утверждают, что он заговорил. Однако неизвестно, что именно он сказал.

— Еще раз прошу извинить меня, сударь, — продолжал Робер Брике, — известно, и во всех подробностях.

— Ну, так что же он сказал? — с раздражением спросил всадник. — Говорите, раз вы так хорошо осведомлены.

— Я не хвалюсь своей осведомленностью, сударь, наоборот, — я стараюсь от вас что-нибудь узнать, — ответил Брике.

— Ладно, договоримся! — нетерпеливо сказал всадник. — Вы утверждаете, будто известны показания Сальседа; что же он, собственно, сказал? Ну-ка?

— Я не могу ручаться, что это подлинные его слова, — сказал Робер Брике; видимо, ему доставляло удовольствие дразнить всадника.

— Но, в конце-то концов, какие же речи ему приписываются?

— Говорят, он признался, что участвовал в заговоре в пользу господина де Гиза.

— Против короля Франции, разумеется? Старая песня!
— Нет, не против его величества короля Франции, против его высочества монсеньора герцога Анжуйского.

— Если он в этом признался...

— Так что? — спросил Робер Брике.

— Так он негодяй! — нахмурился, произнес всадник.

— Да, — тихо сказал Робер Брике, — но он молодец, если сделал то, в чем признался. Ах, сударь, железные сапоги, дыба и котелок с кипящей водой хорошо развязывают языки порядочным людям.

— Увы! Истинная правда, сударь, — сказал всадник, смягчаясь и глубоко вздыхая.

— Подумаешь! — прервал гасконец, который все время вытягивал шею то к одному, то к другому из собеседников и слышал весь разговор. — Подумаешь! Сапоги, дыба, котелок, — какие пустяки! Если этот Сальсед заговорил, так он негодяй, да и хозяин его тоже.

— Ого! — молвил всадник, будучи не в силах сдержать раздражения. — Громко же вы поете, господин гасконец.

— Я?

— Да, вы.

— Я пою на мотив, который мне по вкусу, черт побери. Тем хуже для тех, кому мое пение не нравится.

Всадник сделал гневное движение.

— Потихе! — раздался чей-то голос, негромкий и в то же время повелительный. Робер Брике тщетно старался уяснить себе, кто это сказал.

Всадник явно пытался сделать над собою усилие. Однако у него не хватило воли полностью сдержать свой порыв.

— А хорошо ли вы знаете тех, о ком говорите, сударь? — спросил он у гасконца.

— Знаю ли я Сальседа?

— Да.

— Ни в малейшей степени.

— А герцога Гиза?

— Тоже.

— А герцога Алансонского?

— Еще того меньше.

— Знаете ли вы, что господин де Сальсед храбрец?

— Тем лучше. Он храбро примет смерть.

— И что когда господин де Гиз устраивает заговоры, то он сам в них участвует?

— Черт побери! Да мне-то что до этого?

— И что монсеньор герцог Анжуйский, прежде называвшийся Алансонским, велел убить или допустил, чтобы убили всех, кто за него стоял: Ла Моля, Коконнаса, Бюсси и других.

— Наплевать мне на это!

— Как! Вам наплевать?

— Мейнвиль! Мейнвиль! — тихо прозвучал тот же голос.

— Конечно, наплевать. Я знаю только одно, клянусь кровью Христовой: сегодня у меня в Париже спешное дело, а из-за этого бешеного Сальседа прямо перед моим носом запирают ворота. Черт побери! Дрянь этот ваш Сальсед да и все те в придачу, из-за кого закрывают ворота, которым полагается быть открытыми.

— Ого! Гасконец-то шутить не любит, — пробормотал Брике. — И мы, пожалуй, увидим кое-что любопытное.

Но любопытные вещи, которых ожидал горожанин, так и не произошли. При этом последнем восклицании кровь бросилась в лицо всаднику, но тем не менее он молча проглотил свой гнев.

— В конце концов вы правы, — сказал он, — к черту всех, кто не дает нам попасть в Париж.

«Ого! — подумал Робер Брике, внимательно следивший и за тем, как менялся в лице всадник, и за тем, как его терпению дважды бросался вызов. — Похоже, что я увижу нечто еще более любопытное, чем ожидал».

Пока он размышлял таким образом, раздался звук трубы. Почти тотчас же вслед за тем швейцарцы, орудуя алебардами, проложили себе путь через гущу народа, словно разрезая гигантский пирог с жаворонками, и разделили собравшиеся группы людей на два плотных куска: люди выстроились по обеим сторонам дороги, оставив посередине свободный проход.

По этому проходу стал разезжать взад и вперед на своем коне уже упоминавшийся нами офицер, которому, судя по всему, вверена была охрана ворот. Затем, с вызывающим видом оглядев толпу, он велел трубить.

Это было тотчас же исполнено, и в толпе по обе стороны дороги воцарилось молчание, которого, казалось, невозможно было ожидать после такого волнения и шума.

Тогда глашатай, в расшитом лилиями мундире и с гербом города Парижа на груди, выехал вперед, держа в руке какую-то бумагу, и прочитал гнусавым, как у всех глашатаев, голосом:

— «Доводим до сведения жителей нашего славного города Парижа и его окрестностей, что городские ворота будут закрыты отселе до часу пополудни и что до указанного времени ни-

кто не вступит в город. На то — воля короля и постановление господина парижского прево».

Глашатай остановился передохнуть. Присутствующие воспользовались этой паузой, чтобы выразить свое удивление и недовольство долгим улюлюканьем, которое глашатай, надо отдать ему справедливость, выдержал и глазом не моргнув.

Офицер повелительно поднял руку, и тотчас же восстановилась тишина.

Глашатай продолжал безо всякого смущения и колебания; привычка, видимо, закалила его против каких бы то ни было проявлений народных чувств:

— «Мера эта не касается тех, кто предъявит опознавательный знак или же окажется вызванным по особому, должным образом составленному письму или приказу.

Дано в Управлении парижского прево по чрезвычайному приказу его величества двадцать шестого октября в год от Рождества Господа нашего тысяча пятьсот восемьдесят пятый».

— Трубить в трубы!

Тотчас же раздался хриплый лай труб.

Едва глашатай умолк, как толпа за цепью швейцарцев и солдат дрогнула и зашевелилась, словно тело змеи, чьи кольца набухают и извиваются.

— Что это означает? — спрашивали друг у друга наиболее мирно настроенные. — Наверно, опять какой-нибудь заговор!

— Ого! Это, безо всякого сомнения, устроено для того, чтобы помешать нам войти в Париж, — тихо сказал своим спутникам всадник, со столь диковинным терпением сносивший дерзкие выходки гасконца. — Швейцарцы, глашатай, затворы, трубы — все это ради нас. Клянусь душой, я даже горд.

— Дорогу! Дорогу! Эй вы, там! — кричал офицер, командовавший отрядом. — Тысяча чертей! Или вы не видите, что загородили проход тем, кто имеет право войти в городские ворота?

— Я, черт возьми, знаю одного человека, который пройдет, хотя бы все на свете горожане стояли между ним и заставой, — сказал, бесцеремонно протискиваясь сквозь толпу, гасконец, чьи дерзкие речи вызвали восхищение у мэтра Робера Брике.

И действительно, он мгновенно очутился в свободном проходе, образовавшемся благодаря швейцарцам между двумя шеренгами зрителей.

Можно себе представить, с какой поспешностью и любопытством обратились все взоры на человека, которому посчастливилось выйти вперед, когда ему велено было оставаться на месте.



Глашатай, в расшитом лилиями мундире и с гербом города Парижа на груди, выехал вперед, держа в руке какую-то бумагу.

Но гасконца мало тревожили все эти завистливые взгляды. Он с гордым видом остановился, напрягая все мускулы своего тела под тонкой зеленой курткой, крепко натянутые каким-то внутренним рычагом. Из-под слишком коротких потертых рукавов на добрых три дюйма выступали сухие костлявые запястья. Глаза были светлые, волосы курчавые и желтые либо от природы, либо по причине случайной, ибо такой цвет они приобрели отчасти от дорожной пыли. Длинные гибкие ноги хорошо прилаживались к лодыжкам, сухим и жилистым, как у оленя. Одна рука, притом только одна, затянута была в вышитую

кожаную перчатку, в немалой степени изумленную тем, что ей приходится защищать кожу, гораздо более грубую, чем та, из которой сделана она сама; в другой он вертел ореховую палку. Сперва он быстро огляделся по сторонам; затем, решив, что уже упоминавшийся нами офицер самое важное в отряде лицо, пошел прямо к нему.

Тот некоторое время созерцал его, прежде чем заговорить.

Гасконец, отнюдь не смутившись, делал то же самое.

— Вы, видно, потеряли шляпу, — сказал офицер.

— Да, сударь.

— В толпе?

— Нет. Я получил письмо от своей любовницы, стал его читать, черт побери, у речки за четверть мили отсюда, как вдруг порыв ветра унес и письмо и шляпу. Я побежал за письмом, хотя пряжка у меня на шляпе — крупный бриллиант. Схватил письмо, но, когда вернулся за шляпой, оказалось, что ветром ее занесло в речку, а по течению речки она уплыла в Париж!.. Какой-нибудь бедняк на этом деле разбогатеет. Пускай!

— Так что вы остались без головного убора?

— А что, в Париже я шляпы не достану, черт побери?! Куплю себе шляпу еще красивее и украшу бриллиантом в два раза крупнее.

Офицер едва заметно пожал плечами. Но при всей своей незаметности, движение это от гасконца не ускользнуло.

— В чем дело? — сказал он.

— У вас есть пропуск? — спросил офицер.

— Конечно, есть, даже не один, а два.

— Одного хватит, только бы он был в порядке.

— Но если я не ошибаюсь, — да нет, черт побери, не ошибаюсь, — я имею удовольствие беседовать с господином де Луаньяком?

— Вполне возможно, сударь, — сухо ответил офицер, отнюдь не пришедший в восторг от того, что оказался узанным.

— С господином де Луаньяком, моим земляком?

— Отрицать не стану.

— С моим кузеном!

— Ладно, давайте пропуск.

— Вот он.

Гасконец вытащил из перчатки искусно вырезанную половину карточки.

— Идите за мной, — сказал Луаньяк, не взглянув на карточку, — вы и ваши спутники, если с вами кто-нибудь есть. Сейчас мы проверим пропуск.

И он занял место у самых ворот.



Гасконец с гордым видом остановился, напрягая все мускулы своего тела под тонкой зеленой курткой...

Гасконец с непокрытой головой последовал за ним.

Пятеро других личностей потянулись за гасконцем.

На первой из них была великолепная кираса такой изумительной работы, что казалось, она вышла из рук самого Бенвенуто Челлини. Однако фасон, по которому кираса была вычеканена, уж несколько вышел из моды, и потому эта роскошь вызвала не столько восторг, сколько насмешку.

Правда, все другие части костюма, в который облачен был владелец кирасы, отнюдь не соответствовали почти царскому великолепию этой вывески.

Второй спутник гасконца шел в сопровождении толстого седоватого слуги: тощий и загорелый, он представлялся каким-то прообразом Дон Кихота, как и слуга его мог сойти за прообраз Санчо Пансы.

У третьего в руках был десятимесячный младенец, за ним шла, уцепившись за его кожаный пояс, женщина, а за ее юбку держались еще два ребенка — один четырех, другой пяти лет.

Четвертый хромал и казался словно привязанным к своей длинной шпаге.

Наконец, шествие замыкал красивый молодой человек верхом на вороном коне, покрытом пылью, но явно породистом.

По сравнению с прочими он казался настоящим королем.

Вынужденный продвигаться вперед достаточно медленно, чтобы не опережать своих сотоварищей, и, может быть, даже внутренне радуясь тому, что ему не приходится держаться слишком близко к ним, этот молодой человек на мгновение задержался у шеренги, образованной столпившимся народом.

В тот же миг он почувствовал, как кто-то потянул его за ножны шпаги, и тотчас же обернулся.

Оказалось, что задел его и привлек таким образом к себе его внимание черноволосый юноша с горящим взглядом, невысокий, гибкий, изящный, с затянутыми в перчатки руками.

— Что вам угодно, сударь? — спросил наш всадник.

— Сударь, попрошу у вас об одном одолжении.

— Говорите, только поскорее, пожалуйста; видите, меня ждут.

— Мне надо попасть в город, сударь, мне это до крайности необходимо, понимаете?.. А вы одни, и вам нужен паж, который оказался бы под стать вашей внешности.

— Так что же?

— Так вот, услуга за услугу: проведите меня в город, и я буду вашим пажом.

— Благодарю вас, — сказал всадник, — но я совсем не нуждаюсь в слугах.

— Даже в таком, как я? — спросил юноша, так странно улыбнувшись, что всадник почувствовал, как ледяная оболочка, в которую он пытался заключить свое сердце, начала таять.

— Я хотел сказать, что не могу держать слуг.

— Да, я знаю, что вы не богаты, господин Эрнотон де Карменж, — произнес юный паж.

Всадник вздрогнул. Но, не обращая на это внимания, мальчик продолжал:

— Поэтому о жалованье мы говорить не станем, и даже наоборот, если вы согласитесь исполнить мою просьбу, вам запла-



— Так вот, услуга за услугу: проведите меня в город,
и я буду вашим пажом.

тят в сто раз дороже, чем стоит услуга, которую вы мне окажете!
Прошу вас, позвольте же мне послужить вам, помня, что тому,
кто сейчас просит вас, случилось отдавать приказания.

И юноша пожал всаднику руку, что со стороны пажа было
довольно бесцеремонно. Затем, обернувшись к уже известной
нам группе всадников, он сказал:

— Я прохожу, это главное. Вы, Мейнвиль, постарайтесь
сделать то же самое каким угодно способом.

— Пройти — это еще не все, — ответил дворянин, — нужно,
чтобы он вас увидел.

— О, не беспокойтесь. Если уж я пройду через эти ворота,
он меня увидит.

— Не забудьте условного знака.

— Два пальца у губ — не так ли?

— Да, а теперь — да поможет вам Бог.

— Ну что ж, — сказал владелец вороного коня, — что вы там
замешкались, господин паж?

— К вашим услугам, хозяин, — ответил юноша.

И он легко вскочил на круп лошади позади своего спутника, который поспешил присоединиться к пяти другим избранникам, уже вынимавшим карточки, чтобы доказать свое право на впуск в город.

— Черти полосатые, — произнес Робер Брике, следивший за ними взглядом, — да это целый караван гасконцев, разрази меня гром!

Глава III ПРОВЕРКА



Проверка, предстоявшая шестерым избранникам, которые на наших глазах вышли из толпы и приблизились к воротам, не была ни длительной, ни сложной.

Им нужно было только вынуть из кармана половину карточки и вручить ее офицеру, который сравнивал ее с другой половиной, и, если обе сходились, образовав одно целое, права носителя карточки были доказаны.

Гасконец без шляпы подошел первым. С него и началась проверка.

— Ваше имя? — спросил офицер.

— Мое имя, господин офицер? Да оно написано на этой карточке, на ней вы найдете и еще кое-что.

— Неважно, скажите свое имя! — нетерпеливо повторил офицер. — Или вы не знаете своего имени?

— Как же, отлично знаю, черт побери! А если бы и забыл, так вы могли бы мне его напомнить, мы же земляки и даже родичи.

— Имя ваше, тысяча чертей! Неужели вы воображаете, что у меня есть время разглядывать людей?

— Ладно. Зовут меня Пердикка де Пенкорнэ.

— Пердикка де Пенкорнэ? — переспросил г-н де Луаньяк; отныне мы станем называть его именем, которое произнес, здороваясь с ним, его земляк.

Бросив взгляд на карточку, он прочел:

«Пердикка де Пенкорнэ, 26 октября 1585 года, ровно в полдень».

— Ворота Сент-Антуан, — добавил гасконец, тыча сухим черным пальцем в карточку.

— Отлично. В порядке. Входите, — произнес г-н де Луаньяк, обрывая дальнейшую беседу со своим земляком. — Теперь вы, — обратился он ко второму.

Подошел человек в кирасе.

— Ваша карточка? — спросил Луаньяк.

— Как, господин де Луаньяк, — воскликнул тот, — неужто вы не узнаете сына одного из ваших друзей детства? Я же так часто играл у вас на коленях!

— Нет.

— Пертинакс де Монкрабо, — продолжал с удивлением молодой человек. — Вы меня не узнали?

— На службе я никого не узнаю, сударь. Вашу карточку?

Молодой человек в кирасе протянул ему карточку.

— «Пертинакс де Монкрабо, 26 октября, ровно в полдень, ворота Сент-Антуан». Проходите.

Молодой человек, немного ошалевший от подобного приема, прошел и присоединился к Пердикке, который дожидался у самых ворот.

Подошел третий гасконец, тот, с которым была женщина и дети.

— Ваша карточка? — спросил Луаньяк.

Послушная рука гасконца тотчас же погрузилась в сумочку из косульей кожи, которая болталась у него на правом боку.

Но тщетно: обремененный младенцем, который был у него на руках, он не мог найти требуемой бумаги.

— Что вы, черт побери, возитесь с этим ребенком, сударь? Вы же видите, что он вам мешает.

— Это мой сын, господин де Луаньяк.

— Ну так опустите своего сына на землю.

Гасконец повиновался. Младенец заревел.

— Вы что, женаты? — спросил Луаньяк.

— Так точно, господин офицер.

— В двадцать лет?

— У нас рано женятся, вы сами хорошо знаете, господин де Луаньяк, вы ведь женились восемнадцати лет.

— Ну вот, — заметил Луаньяк, — и этот меня знает.

Тем временем приблизилась женщина с двумя ребятами, уцепившимися за ее юбку.

— А почему бы ему не быть женатым? — спросила она, выпрямляясь и отбрасывая с загорелого лица волосы, слипшиеся от дорожной пыли. — Разве в Париже прошла мода жениться? Да, сударь, он женат, и вот еще двое детей, зовущих его отцом.

— Да, но это всего-навсего дети моей жены, господин де Луаньяк, как и тот высокий парень, что держится позади нас. Подойди, Милитор, и поздоровайся с нашим земляком — господином де Луаньяком.

Подошел, заткнув руки за пояс из буйволовой кожи, мальчик лет шестнадцати-семнадцати, сильный, ловкий, своими круглыми глазами и крючковатым носом напоминавший сокола.

На нем была плотная шерстяная вязаная накидка, мускулистые ноги были затянуты в замшевые штаны. Рот, наглый и чувственный, оттеняли нарождавшиеся усики.

— Это мой пасынок Милитор, господин де Луаньяк, старший сын моей жены, она по первому мужу Шавантрад и в родстве с Луаньяками. Милитор де Шавантрад к вашим услугам. Да поздоровайся же, Милитор.

И тут же он нагнулся к младенцу, который с ревом катался по земле.

— Замолчи, Сципион, замолчи, малыш, — приговаривал он, продолжая искать карточку по всем карманам.

Тем временем Милитор, вняв увещаниям отчима, слегка поклонился, не вынимая рук из-за пояса.

— Ради всего святого, давайте же мне свою карточку, сударь! — нетерпеливо вскричал Луаньяк.

— Поди-ка сюда и помоги мне, Лардиль, — покраснев, обратился к жене гасконец.

Лардиль оторвала от своей юбки одну за другой вцепившиеся в нее ручонки и стала сама шарить в сумке и карманах мужа.

— Хорошее дело! — молвила она. — Мы ее, верно, потеряли.

— Тогда придется вас задержать, — сказал Луаньяк.

Гасконец побледнел.

— Меня зовут Эсташ де Мираду, — сказал он, — за меня поручится мой родственник, господин де Сент-Малин.

— А вы в родстве с Сент-Малином? — сказал, несколько смягчаясь, Луаньяк. — Впрочем, послушать их, так они со всеми в родстве! Ну ладно, ищите дальше, а главное — найдите.

— Посмотри, Лардиль, пошарь в детских вещах, — произнес Эсташ, весь дрожа от досады и тревоги.

Лардиль нагнулась над небольшим узелком с рухлядью и стала перебирать вещи, что-то бормоча себе под нос.

Малолетний Сципион продолжал орать благим матом. Правда, его единоутробные братцы, видя, что они предоставлены самим себе, развлекались, набивая ему в рот песок.

Милитор не двигался. Можно было подумать, что семейные неприятности проходили мимо этого здорового парня, даже не задевая его.

— Э! — вскричал вдруг г-н де Луаньяк. — А что там в кожаной обертке на рукаве у этого верзилы?

— Да, да, правда! — ликуя, возопил Эташ. — Теперь я помню, это же придумала Лардиль: она сама нашла карточку Милитору на рукав.

— Чтобы он тоже что-нибудь нес, — иронически заметил Луаньяк. — Фи, здоровенный теленок, а даже руки засунул за пояс, чтобы они его не обременяли.

Губы Милитора побледнели от ярости, а на носу, подбородке и лбу выступили красные пятна.

— У телят рук нет, — пробурчал он, злобно тараща глаза, — у них ноги с копытами, как у некоторых известных мне людей.

— Тише! — произнес Эташ. — Ты же видишь, Милитор, что господин де Луаньяк изволит с нами шутить.

— Нет, черт побери, я не шучу, — возразил Луаньяк, — я, напротив, хочу, чтобы этот дылда понял мои слова как следует. Будь он мне пасынком, я б его заставил тащить мать, брата, узел, и разрази меня гром, если я сам не уселся бы на него в придачу верхом, да еще вытянул бы ему уши подлиннее в доказательство, что он настоящий осел.

Милитор уже терял самообладание. Эташ забеспокоился. Но сквозь его тревогу проглядывало удовольствие от нанесенного пасынку унижения.

Чтобы покончить с осложнениями и спасти своего первенца от насмешек г-на де Луаньяка, Лардиль извлекла из кожаной обертки карточку и протянула ее офицеру.

Господин де Луаньяк взял ее и прочел:

«Эташ де Мираду. 26 октября, ровно в полдень, Сент-Антуанские ворота».

Ну, проходите, да смотрите не забудьте кого-нибудь из своих ребят, красавцы они там или нет.

Эташ де Мираду снова взял на руки малолетнего Сципиона, Лардиль опять уцепилась за его пояс, двое ребят постарше ухватились за материнскую юбку, и все семейство, за которым тащился молчаливый Милитор, присоединилось к тем, кто уже прошел проверку.

— Дьявольщина, — пробурчал сквозь зубы Луаньяк, наблюдая за тем, как Эташ де Мираду со своими домочадцами проходит за ворота, — ну и солдатиков же получит господин д'Эпернон!

Затем, обращаясь к четвертому претенденту на право войти в город, он сказал:

— Ну, теперь ваша очередь!

Этот был без спутников. Прямой, негибкий, он, соединив большой и указательный пальцы, щелчками обивал пыль со своей куртки серо-стального цвета. Усы, словно сделанные из кошачьей шерсти, зеленые сверкающие глаза, сросшиеся брови, дугой нависавшие над выступающими скулами, тонкие губы придавали его лицу то выражение недоверчивости и скуповатой сдержанности, по которому узнаешь человека, одинаково тщательно скрывающего и дно своего кошелька, и глубины сердца.

— «Шалабр, 26 октября, ровно в полдень, Сент-Антуанские ворота». Хорошо, идите! — сказал Луаньяк.

— Я полагаю, дорожные издержки должны быть возмещены? — кротким голосом спросил гасконец.

— Я не казначей, сударь, — сухо ответил Луаньяк. — Я пока только привратник. Проходите.

Шалабр отошел.

За Шалабром появился юный белокурый всадник. Вынимая карточку, он выронил из кармана игральную кость и несколько карт.

Он называл себя Сен-Капотель и, так как это заявление было подтверждено карточкой, оказавшейся в полном порядке, последовал за Шалабром.

Оставался шестой, которого импровизированный паж заставил спешиться. Он протянул г-ну де Луаньяку карточку. На ней значилось:

«Эрнотон де Карменж, 26 октября, ровно в полдень, Сент-Антуанские ворота».

Пока г-н де Луаньяк читал, паж, тоже спешившийся, старался как-нибудь спрятать свою голову, для чего укреплял и без того отлично укрепленные поводья лошади своего мнимого господина.

— Это ваш паж, сударь? — спросил де Луаньяк у Эрнотона, указывая пальцем на юношу.

— Вы видите, господин капитан, — сказал Эрнотон, которому не хотелось ни лгать, ни предавать, — вы видите, он взнуздывает моего коня.

— Проходите, — сказал Луаньяк, внимательно осматривая г-на де Карменжа, лицом и фигурой пришедшегося ему, видимо, больше по нраву, чем другие.

— Этот-то хоть, по крайней мере, приемлем, — пробормотал он.

Эрнотон вскочил в седло. Паж, не торопясь, но и не медля, двинулся вперед и уже смешался с толпой ожидавших впуска в город.

— Открыть ворота, — приказал Луаньяк, — и пропустить этих шестерых лиц и их спутников.

— Скорей, скорей, хозяин, — сказал паж, — в седло и поедем.

Эрнотон опять подчинился влиянию, которое оказывало на него это странное существо. Ворота распахнулись, он прищиприл коня и, следуя указаниям паж, углубился в самое сердце Сент-Антуанского предместья.

Когда шестеро избранников вошли, Луаньяк велел запереть за ними ворота, к величайшему неудовольствию толпы, которая рассчитывала после окончания всех формальностей тоже попасть в город. Видя, что надежды ее обмануты, она стала громко выражать свое возмущение.

После стремительной пробежки через поле мэтр Митон понемногу обрел мужество и, осторожно нащупывая при каждом шаге почву, возвратился в конце концов на то самое место, откуда начал свой бег. Теперь он решился вслух пожаловаться на солдатню, беззастенчиво преграждающую людям пути сообщения.

Кум Фриар, которому удалось разыскать жену и который под ее защитой, видимо, уже ничего не боялся, сообщал августейшей половине новости дня, украшая их толкованиями на свой лад.

Наконец всадники, одного из коих маленький паж назвал Мейнвилем, держали совет, не обогнуть ли им крепостную стену, в небезосновательном расчете на то, что там может найтись какое-нибудь отверстие; через него они, пожалуй, проникнут в Париж, избежав в то же время обязательной проверки у Сент-Антуанских ворот или иных.

В качестве философа, анализирующего происходящее, и ученого, извлекающего из явлений их сущность, Робер Брике уразумел, что развязка всей сцены, о которой мы рассказывали, совершится у самых ворот и что из частных разговоров между всадниками, горожанами и крестьянами он уже больше ничего не узнает.

Поэтому он приблизился насколько мог к небольшому строению, служившему сторожкой для привратника и освещенному двумя окошками, одно из которых выходило на Париж, а другое на окрестные поля.

Не успел он занять этот новый пост, как некий верховой, примчавшийся галопом из самого сердца Парижа, соскочил с коня, вошел в сторожку и выглянул из окна.

— Ага! — промолвил Луаньяк.

— Вот и я, господин де Луаньяк, — сказал этот человек.

— Хорошо. Вы откуда?

— От ворот Сен-Виктор.

— Сколько у вас там?

— Пятеро.

— Карточки?

— Извольте получить.

Луаньяк взял карточки, проверил их и написал на, видимо, специально приготовленной для этого аспидной доске цифру 5.

Вестник удалился.

Не прошло и пяти минут, как появилось двое других.

Луаньяк расспросил каждого из них через свое окошечко.

Один прибыл от ворот Бурдель и доставил цифру 4.

Другой от ворот Тампль и назвал цифру 5.

Луаньяк старательно записал эти цифры на дощечке.

Вестники исчезли, как и первый, сменившись в последовательном порядке еще четырьмя прибывшими:

Первый от ворот Сен-Дени с цифрой 5.

Второй от ворот Сен-Жак с цифрой 3.

Третий от ворот Сент-Оноре с цифрой 8.

Четвертый от ворот Монмартр с цифрой 4.

И наконец, появился пятый, от ворот Бюсси: он привез цифру 4.

Тогда Луаньяк тщательно и про себя подсчитал нижеследующие названия мест и цифры:

Ворота Сен-Виктор 5

Ворота Бурдель 4

Ворота Тампль 6

Ворота Сен-Дени 5

Ворота Сен-Жак 3

Ворота Сент-Оноре 8

Ворота Монмартр 4

Ворота Бюсси 4

Наконец, ворота Сент-Антуан 6

Итого сорок пять 45

— Хорошо. Теперь, — крикнул Луаньяк зычным голо-
сом, — открыть ворота и впустить всех желающих.

Ворота распахнулись.

Тотчас же лошади, мулы, женщины, дети, повозки устремились в Париж с риском задохнуться в узком пространстве между столбами подъемного моста.

За какие-нибудь четверть часа по широкой артерии, именуемой улицей Сент-Антуан, растеся весь человеческий поток, с самого утра скопьявшийся у временно возникшей плотины.

Шум понемногу затих.

Господин де Луаньяк и его люди снова сели на коней. Робер Брике, оставшийся здесь последним после того, как явился первым, флегматично переступил через цепь, замыкающую мост, приговаривая:

— Все эти люди хотели что-то уразуметь — и ничего не уразумели даже в своих собственных делах. Я ничего не хотел увидеть — и единственный кое-что усмотрел. Начало увлекательное, будем продолжать. Но к чему? Я, черт побери, знаю достаточно. Что мне за интерес глядеть, как господина де Сальседа разорвут на четыре части? Нет, к чертям! К тому же я отказался от политики. Пойдем пообедаем. Солнце показывало бы полдень, если бы оно вообще выглянуло. Пора.

С этими словами он вошел в Париж, улыбаясь своей спокойной лукавой улыбкой.

Глава IV ЛОЖА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЯ ГЕНРИХА III НА ГРЕВСКОЙ ПЛОЩАДИ



Если бы по самой людной улице Сент-Антуанского квартала мы проследовали до Гревской площади, то увидели бы в толпе много своих знакомых. Но пока все эти несчастные горожане, не такие мудрые, как Робер Брике, тянутся один за другим, в толкотне, сутолоке, давке, пользуясь правом, которое дают нам крылья историка, сразу перенесемся на площадь и, охватив одним взглядом все развертывающееся перед нами зрелище, на мгновение вернемся в прошлое, дабы познать причину, после того как мы созерцали следствие.

Можно смело сказать, что мэтр Фриар был прав, считая, что на Гревской площади соберется не менее ста тысяч человек насладиться подготовлявшимся там зрелищем. Все парижане назначили друг другу свидание у ратуши, а парижане — народ точный. Они-то не пропустят торжества, а ведь это торжество,

и притом необычное, — казнь человека, возбуждавшего такие страсти, что одни его клянут, другие славят, а большинство испытывает к нему жалость.

Зритель, которому удалось выбраться на Гревскую площадь либо с набережной у кабачка «Образ Богоматери», либо крытым проходом от площади Бодуайе, замечал прежде всего на самой середине Гревской площади лучников лейтенанта Тансона, отряды швейцарцев и легкой кавалерии, окружавшие небольшой эшафот, который возвышался фута на четыре над уровнем площади.

Этот эшафот, такой низкий, что его могли видеть лишь непосредственно стоявшие подле него люди или те, кому посчастливилось занять место у одного из выходивших на площадь окон, ожидал осужденного, а тем с самого утра завладели монахи, и для него уже приготовлены были лошади, чтобы, по образному народному выражению, везти его в далекое путешествие.

И действительно, под навесом первого дома на углу улицы Мутон у самой площади четыре сильных першерона белой масти, с косматыми ногами, нетерпеливо били копытами о мостовую, кусали друг друга и ржали, к величайшему ужасу женщин, избравших это место по доброй воле или же под напором толпы.

Лошади эти были необъезжены. Лишь изредка на травянистых равнинах их родины случалось им нести на своих широких спинах толстощекое младенца какого-нибудь крестьянина, задержавшегося в полях на закате солнца.

Но после пустого эшафота, после ржущих коней больше всего привлекало взоры толпы главное окно ратуши, затянутое красным бархатом с золотым шитьем, откуда свисал бархатный же ковер, украшенный королевским гербом.

Ибо окно это являлось королевской ложей. В церкви Св. Иоанна, что на Гревской площади, пробило половину второго, когда в этом окне, напоминавшем раму, показались те лица, которые должны были изображать саму картину.

Первым появился король Генрих III, бледный, почти совсем лысый, хотя в то время ему было не более тридцати пяти лет; глаза в темных орбитах глубоко запади, нервная судорога кривила рот.

Он вошел, угрюмый, с безжизненным взглядом, одновременно и величественный, и едва держащийся на ногах, странно одетый и передвигающийся, больше тень, чем человек, больше призрак, чем король. Для подданных он являлся загадкой, недоступной их пониманию и так и не разгаданной: при его появлении они недоумевали, что им делать — кричать «Да здравствует король» или молиться за упокой его души.



...лошади нетерпеливо били копытами о мостовую, кусали друг друга и ржали, к величайшему ужасу женщин...

На Генрихе была короткая черная куртка, расшитая черным позументом, ни орденов, ни драгоценностей — лишь на маленькой шапочке сверкал один бриллиант — пряжка, придерживающая три коротких завитых пера. В левой руке он держал черную болонку, которую прислала ему в подарок из своей тюрьмы его невестка Мария Стюарт: на шелковистой шерсти собачки выделялись его длинные, белые, словно выточенные из алебаstra, пальцы.

За ним шла Екатерина Медичи, уже согбенная годами, ибо королеве-матери было в ту пору шестьдесят шесть — шестьде-

сят семь. Тем не менее голову она держала еще твердо и прямо. Из-под привычно нахмуренных бровей устремлялся острый взгляд, но, несмотря на это, она в своей неизменно траурной одежде и с матово-бледным лицом походила на восковую статую.

Рядом с ней возникло грустное кроткое лицо королевы Луизы Лотарингской — жены Генриха III, на первый взгляд ничем не замечательной, но на самом деле верной подруги его несчастливой, полной тревожных волнений жизни.

Королева Екатерина Медичи намеревалась присутствовать при своем триумфе.

Королева Луиза шла смотреть казнь.

Король Генрих замышлял важную сделку.

Эти три оттенка чувств отражались на высокомерном челе первой, в покорном выражении лица второй, сумрачной озаченности третьего.

За высокими особами, на которых с любопытством глазел народ, следовали два красивых молодых человека — одному было лет двадцать, другому не больше двадцати пяти.

Они шли рука об руку, несмотря на этикет, не допускающий, чтобы в присутствии монархов, как и в церкви перед лицом Бога, люди наглядно выражали свою взаимную привязанность.

Они улыбались: младший — как-то невыразимо печальной, старший — пленительной, покоряющей улыбкой. Они были красивы, высокого роста, родные братья.

Младшего звали Анри де Жуаез, граф дю Бушаж; второй был герцог Анн де Жуаез. Еще недавно он известен был под именем д'Арк. Но король Генрих, любивший его превыше всего на свете, год назад назначил своего фаворита пэром Франции, превратив виконтство де Жуаез в герцогство.

К этому фавориту народ не испытывал ненависти, которую питал в свое время к Можирону, Келюсу и Шомбергу, ненависти, унаследованной одним лишь д'Эперноном.

Поэтому собравшаяся на площади толпа встретила государя и обоих братьев не слишком бурными, но все же приветственными кликами.

Генрих поклонился народу серьезно, без улыбки, затем поцеловал собачку в голову и обернулся к молодым людям.

— Прислонитесь к ковру, Анн, — молвил он старшему, — вы устанете все время стоять. Это может продлиться довольно долго.

— Надеюсь, — вмешалась Екатерина, — что это будет долгое и приятное зрелище, сир.

— Вы, значит, полагаете, что Сальсед заговорит, матушка? — спросил Генрих.

— Господь Бог, надеюсь, повергнет врагов наших в смущение. Я говорю «наших врагов», ибо они также и ваши враги, дочь моя, — добавила она, обернувшись к королеве; та, побледнев, опустила свои кроткие глаза.

Король с сомнением покачал головой. Затем, снова обернувшись к Жуаезу и заметив, что тот, несмотря на его слова, продолжает стоять, сказал:

— Послушайте же, Анн, — сделайте, как я вам советую. Прислонитесь к стене или обопритесь на спинку моего кресла.

— Ваше величество поистине слишком добры, — сказал юный герцог, — я воспользуюсь вашим разрешением лишь тогда, когда по-настоящему устану.

— А мы не станем дожидаться, чтобы ты устал, не правда ли, брат? — тихонько прошептал Анри.

— Будь покоен, — ответил Анн больше взглядом, чем голосом.

— Сын мой, — произнесла Екатерина, — по-моему, там, на углу набережной, происходит какая-то свалка?

— И острое же у вас зрение, матушка! Да, действительно, кажется, вы правы. Какие же у меня плохие глаза, а ведь я совсем не стар!

— Сир, — бесцеремонно прервал его Жуаез, — свалка происходит потому, что отряд лучников оттесняет толпу. Наверное, ведут осужденного.

— Как это лестно для королей, — сказала Екатерина, — присутствовать при четвертовании человека, у которого течет в жилах капля королевской крови.

Произнося эти слова, она не спускала глаз с королевы Луизы.

— О государыня, простите, пощадите меня, — вскричала молодая королева с отчаянием, которое она тщетно пыталась скрыть. — Нет, это чудовище не принадлежит к моей семье, и вы не хотели сказать, что я с ним в родстве.

— Конечно нет, — сказал король. — Я уверен, что моя мать не имела этого в виду.

— Однако же, — едко произнесла Екатерина, — он сродни Лотарингскому дому, а лотарингцы ваши родичи, сударыня. Я, по крайней мере, так полагаю. Значит, этот Сальсед имеет к вам некоторое отношение, и даже довольно близкое.

— То есть, — прервал Жуаез, охваченный благородным негодованием (оно было характерной чертой его природы и прояв-

лялось при всех обстоятельствах, кем бы ни был тот, кто его вызвал), то есть он имеет отношение к господину де Гизу, но не к королеве Франции.

— Ах, вы здесь, господин де Жуаез? — протянула Екатерина невыразимо высокомерным тоном, платя унижением за свою досаду. — Вы здесь? А я вас и не заметила.

— Да, я здесь, не столько даже по доброй воле, сколько по приказу короля, государыня, — ответил Жуаез, устремив на Генриха вопросительный взгляд. — Не такое уж это приятное зрелище — четвертование человека, — чтобы я на него явился, если бы не был к этому вынужден.

— Жуаез прав, государыня, — сказал Генрих, — речь сейчас идет не о Лотарингском доме, не о Гизах и — главное — отнюдь не о королеве. Речь идет о том, что будет разделен на четыре куска господин де Сальсед, преступник, намеревавшийся умертвить моего брата.

— Мне сегодня что-то не везет, — сказала Екатерина, внезапно уступая, что было у нее самым ловким тактическим ходом, — до слез обидела свою дочь и — да простит мне Бог, — кажется, насмешила господина де Жуаеза.

— Ах, ваше величество, — вскричала Луиза, хватаясь за руки Екатерины, — возможно ли, что вы так неправильно поняли мое огорчение!

— И усомнились в моем глубочайшем почтении, — добавил Анн де Жуаез, склоняясь над ручкой королевского кресла.

— Да, правда, правда, — ответила Екатерина, пуская последнюю стрелу в сердце своей невестки. — Я сама должна была понять, дитя мое, как тягостно для вас, когда раскрываются заговоры ваших лотарингских родичей. Хоть вы тут и ни при чем, но не можете не страдать от этого родства.

— Ах, это-то, пожалуй, верно, матушка, — сказал король, стараясь примирить всех. — На этот раз мы наконец-то можем не сомневаться в причастности господ де Гиз к этому заговору.

— Но, сир, — прервала его Луиза Лотарингская смелее, чем прежде, — ваше величество отлично знаете, что, став королевой Франции, я оставила всех своих родичей далеко внизу, у подножия трона.

— О, — вскричал Анн де Жуаез, — видите, сир, я не ошибался. Вот и осужденный появился на площади. Черт побери, и гнусный же у него вид!

— Он боится, — сказала Екатерина, — он будет говорить.

— Если у него хватит сил, — заметил король. — Глядите, матушка, голова у него болтается, как у покойника.

— Это я и говорю, сир, — сказал Жуаез, — он ужасен.

— Как же вы хотите, чтобы человек с такими злодейскими помыслами выглядел привлекательно? Я ведь объяснил вам, Анн, тайное соответствие между физической и нравственной природой человека, как его уразумели и истолковали Гиппократ и Гален.

— Не отрицаю, сир, но я не такой понятливый ученик, как вы, и мне нередко приходилось видеть весьма некрасивых людей, которые были очень доблестными воинами. Верно, Анри?

Жуаез обернулся к брату, словно ища у него одобрения и поддержки. Но Анри смотрел прямо перед собою, ничего не видя, слушал, ничего не слыша. Он был погружен в глубокую задумчивость. Вместо него ответил король.

— Бог ты мой, дорогой Анн, — вскричал он, — а кто говорит, что этот человек не храбр? Он храбр, черт возьми! Как медведь, как волк, как змея. Или вы не помните, что он делал? Он сжег одного нормандского дворянина, своего врага, в его доме. Он десять раз дрался на дуэли и убил трех противников. Он был пойман за чеканкой фальшивой монеты и приговорен за это к смерти.

— Следует добавить, — сказала Екатерина, — что помилование ему выхлопотал господин герцог де Гиз, ваш кузен, дочь моя.

На этот раз силы у Луизы иссякли. Она только глубоко вздохнула.

— Что и говорить, — сказал Жуаез, — жизнь весьма деятельная. Но теперь она скоро кончится.

— Надеюсь, господин де Жуаез, — сказала Екатерина, — что конец, напротив, наступит не слишком скоро.

— Государыня, — качая головой, возразил Жуаез, — там под навесом я вижу таких добрых коней и, видимо, так истомившихся от безделья, что не рассчитываю на чрезмерную выносливость мышц, связок и хрящей господина де Сальседа.

— Да, но это уже предусмотрено. Мой сын мягкосердечен, — добавила королева, улыбнувшись так, как умела улыбаться только она одна, — и он велит передать помощникам палача, чтобы они тянули не слишком сильно.

— Однако, ваше величество, — робко заметила королева Луиза, — я слышала, как вы сегодня утром говорили госпоже де Меркер — так мне, по крайней мере, показалось, — что несчастного будут растягивать только два раза.

— Да, если он поведет себя хорошо, — сказала Екатерина. — В этом случае с ним будет покончено быстро. Но вы понимаете, дочь моя, раз уж вас так волнует его участь, я хотела бы, что-

бы вы могли как-нибудь сообщить ему об этом: пусть он ведет себя хорошо, это ведь в его интересах.

— Дело в том, ваше величество, — сказала королева, — что Господь не дал мне таких сил, как вам, и я не очень-то люблю смотреть, как мучаются люди.

— Ну так не смотрите, дочь моя.

Луиза умолкла.

Король ничего не слышал. Он-то смотрел во все глаза, ибо осужденного уже снимали с повозки, на которой доставили из тюрьмы, и собирались уложить на низенький эшафот.

Тем временем алебардчики, лучники и швейцарцы основательно расчистили площадь, и вокруг эшафота образовалось пространство достаточно широкое, чтобы все присутствующие могли видеть Сальседа, несмотря на то что смертный помост был не так уж высок.

Сальседу было лет тридцать, он казался сильным и крепко сложенным. Бледное лицо его, на котором проступило несколько капель пота и крови, оживлялось, когда он оглядывался кругом с каким-то неопишуемым выражением — то надежды, то смертельного страха.

Сперва он устремил взгляд на королевскую ложу. Но, словно поняв, что вместо спасения оттуда может прийти только смерть, он тотчас же отвел его.

Вся надежда его была на толпу. Его горящие глаза, его душа, словно трепещущая у самых уст, искали чего-то в недрах этой грозовой пучины.

Толпа безмолвствовала.

Сальсед не был обыкновенным убийцей. Прежде всего он принадлежал к знатному роду, недаром Екатерина Медичи, которая отлично разбиралась в родословных, хотя и делала вид, будто не придает им значения, обнаружила в его жилах каплю королевской крови. Вдобавок Сальседа знали как храброго воина. Рука, перехваченная теперь позорной веревкой, когда-то доблестно орудовала шпагой, за мертвенно-бледным челом, на котором отражался страх смерти, страх, который осужденный, наверно, схоронил бы глубоко в недрах души, если бы все место не занимала там надежда, за этим мертвенно-бледным челом таились некогда великие замыслы.

Из того, что мы сказали, следовало, что для многих зрителей Сальсед являлся героем. Для многих других — жертвой; кое-кто действительно считал его убийцей. Но толпа редко низводит до уровня обыкновенных, заслуживающих презрение



Сальсед

преступников тех знаменитых убийц, чьи имена отмечаются не только в книге правосудия, но и на страницах истории.

И вот в толпе рассказывали, что Сальсед происходит из рода воинов, что его отец яростно боролся против г-на кардинала Лотарингского, вследствие чего славно погиб во время Варфоломеевской резни. Но что впоследствии сын, забыв об этой смерти или же, вернее, пожертвовав ненавистью ради того честолюбия, к которому народ всегда питает сочувствие, сын, говорим мы, вступил в сговор с Испанией и Гизами для того, чтобы воспрепятствовать намечавшемуся воцарению во Фландрии столь ненавистного французам герцога Анжуйского.

Упоминали о его связях с База и Балуеном, предполагаемыми главарями заговора, едва не стоившего жизни герцогу Франсуа, брату Генриха III. Рассказывали, какую изворотливость проявил в этом деле Сальсед, стараясь избежать колеса, виселицы и костра, на которых еще дымилась кровь его сообщников. Он один, сделав признания, по словам лотарингцев, лживые и весьма искусные, так соблазнил судей, что, рассчитывая узнать еще больше, герцог Анжуйский решил временно пощадить его и отправил во Францию, вместо того чтобы обезглавить в Антверпене или Брюсселе. Правда, результат в конце концов оказался тот же; но Сальсед рассчитывал, что по дороге туда, где ему предстояло сделать новые разоблачения, он будет освобожден своими сторонниками. На свою беду, он просчитался: г-н де Белльвер, которому была поручена охрана драгоценного узника, так хорошо стерег его, что ни испанцы, ни лотарингцы, ни сторонники лиги не смогли приблизиться к нему на расстояние одной мили.

В тюрьме Сальсед надеялся. Надеялся в застенке, где его пытали, продолжал надеяться на повозке, в которой везли его к месту казни, не терял надежды даже на эшафоте. Нельзя сказать, что ему не хватало мужества или силы примириться с неизбежным. Но он был одним из тех жизнеспособных людей, которые защищаются до последнего вздоха с таким упорством и стойкостью, каких не хватает душевным силам натур менее цельных.

Королю, как и всему народу, ясно было, о чем именно неотступно думает Сальсед.

Екатерина со своей стороны тревожно следила за малейшим движением злосчастного молодого человека. Но она находилась слишком далеко от него, чтобы улавливать направление его взглядов и замечать их непрестанную игру.

При появлении осужденного толпа, как по волшебству, разместилась на площади ярусами: мужчины, женщины, дети располагались друг над другом. Каждый раз, как над этим волнующимся морем возникала новая голова, ее тотчас же отмечало бдительное око Сальседа: в одну секунду он мог заметить столько, сколько другие обозрели бы лишь за час. Время, ставшее вдруг столь драгоценным, в десять, даже во сто раз обострило его возбужденное сознание.

Устремив на новое, незнакомое лицо взгляд, подобный молнии, Сальсед затем снова мрачнел и переносил все свое внимание куда-нибудь в другое место.

Однако палач уже завладел им и теперь привязывал к эшафоту в самом центре его, охватив веревкой посередине туловища.

По знаку, данному мэтром Таншоном, лейтенантом короткой мантии, распорядившимся приведением приговора в исполнение, два лучника, пробиваясь через толпу, уже направились за лошадьми.

При других обстоятельствах, направляйся они по другому делу, лучники и шагу не смогли бы ступить в этой гуще народа. Но толпа знала, за чем идут лучники, она расступилась, давала дорогу, как в переполненном театре всегда освобождают место для актеров, исполняющих важные роли.

В ту же самую минуту у дверей королевской ложи послышался какой-то шум, и служитель, приподняв завесу, доложил их величествам, что президент парламента Бриссон и четверо советников, из которых один был докладчиком по процессу, ходатайствуют о чести побеседовать одну минутку с королем по поводу казни.

— Отлично, — сказал король.

Обернувшись к Екатерине, он добавил:

— Ну вот, матушка, теперь вы будете довольны.

В знак одобрения Екатерина слегка кивнула головой.

— Сир, прошу вас об одной милости, — обратился к королю Жуаез.

— Говори, Жуаез, — ответил король, — и если ты просишь милости не для осужденного...

— Будьте покойны, сир.

— Я слушаю.

— Сир, имеется одна вещь, которой не переносят глаза моего брата, а в особенности мои: это красные и черные одеяния. Пусть же ваше величество по доброте своей разрешит нам удалиться.

— Как, вас столь мало волнуют мои дела, господин де Жуаез, что вы хотите уйти от меня в такой момент?! — вскричал Генрих.

— Не извольте так думать, сир, все, что касается вашего величества, меня глубоко затрагивает. Но натура моя очень жалкая, слабая женщина и то сильнее меня. Как увижу казнь, так потом целую неделю болен. А ведь теперь, когда мой брат, не знаю уж почему, перестал смеяться, при дворе смеюсь я один: сами посудите, во что превратится несчастный Лувр, и без того такой унылый, если благодаря мне станет еще мрачней? А потому смилуйтесь, сир...

— Ты хочешь покинуть меня, Анн? — спросил Генрих голосом, в котором звучала невыразимая печаль.

— Ей-богу же, сир, вы чересчур требовательны; казнь на Гревской площади — это для вас и мщение и зрелище, да еще

какое! В противоположность мне вы такие зрелища очень любите. Но мщения и зрелища вам мало, вы еще хотите наслаждаться слабодушием ваших друзей.

— Останься, Жуаез, останься. Увидишь, как это интересно.

— Не сомневаюсь. Боюсь даже, как уже докладывал вашему величеству, что станет чересчур интересно, и я уже не смогу этого выдержать. Так вы разрешите, не правда ли, сир?

И Жуаез двинулся по направлению к двери.

— Что ж, — произнес Генрих со вздохом. — Делай, как хочешь. Участь моя — одиночество.

И король, наморщив лоб, обернулся к своей матери: он опасался, не услышала ли она этого разговора между ним и фаворитом.

Екатерина обладала слухом таким же чутким, как зорки были ее глаза. Но когда она не хотела чего-нибудь слышать, не было человека более тугого на ухо.

Тем временем Жуаез шептал брату:

— Живей, живей, дю Бушаж! Пока будут входить советники, проскользни за их широкими мантиями, и улепетнем. Сейчас король сказал «да», через пять минут он скажет «нет».

— Спасибо, спасибо, брат, — ответил юноша. — Мне тоже не терпелось уйти.

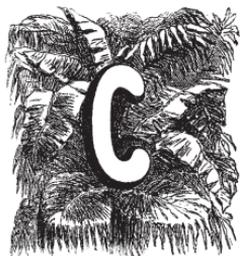
— Ну, ну, вот появляются вороны, улетай, нежный соловушко.

И действительно, оба молодых человека, словно быстрые тени, скрылись за спинами господ советников.

Тяжелые складки занавесы опустились.

Когда король обернулся, молодые люди уже исчезли. Генрих вздохнул и поцеловал собачку.

Глава V КАЗНЬ



советники молча стояли в глубине королевской ложи, ожидая, чтобы король заговорил.

Король заставил их немного подождать, затем обернулся к ним.

— Ну, что новенького, господа? — спросил он. — Здравствуйте, господин президент Бриссон.

— Сир, — ответил президент с привычным ему нечопорным достоинством, которое при дворе называли его гугенотской любезностью, — мы явились по высказанному господином де Ту пожеланию, умолять ваше величе-

ство даровать преступнику жизнь. Он, конечно, в состоянии сделать некоторые разоблачения, и, обещав ему помилование, можно этого добиться.

— Но, — возразил король, — разве они не получены, господин президент?

— Так точно, сир, частично получены: вашему величеству их достаточно?

— Я знаю то, что знаю, сударь.

— Так, значит, вашему величеству все известно и о причастности к этому делу Испании?

— Испании? Да, господин президент, и даже некоторых других держав.

— Важно было бы официально установить эту причастность.

— Поэтому, господин президент, — вмешалась Екатерина, — король намеревается отложить казнь, если виновный подпишет признание, соответствующее тем показаниям, которые он дал судье, подвергшему его пытке.

Бриссон повернулся к королю и вопросительно взглянул на него.

— Таково мое намерение, — сказал Генрих, — я больше не стану его скрывать. В доказательство, господин Бриссон, уполномочиваю вас сообщить об этом осужденному через нашего лейтенанта короткой мантии.

— Других повелений не будет, ваше величество?

— Нет. Но в признаниях не должно быть никаких изменений, в противном случае я беру слово назад. Они должны быть повторены полностью перед всем народом.

— Слушаю, сир. Должны быть названы также имена сообщников?

— Все имена без исключения.

— Даже если по показаниям осужденного носители этих имен окажутся повинными в государственной измене и вооруженном мятеже?

— Даже в том случае, если это будут имена моих ближайших родичей.

— Все будет сделано согласно повелению вашего величества.

— Для того чтобы не произошло недоразумения, я объясню подробно. Осужденному принесут перья и бумагу. Он напишет свое признание публично, показав тем самым, что полагается на наше милосердие и вверяет себя нашей милости. А затем мы посмотрим.

— Но я могу обещать?

— Ну да! Конечно, обещайте.

— Ступайте, господа, — сказал президент, обращаясь к советникам.

И, почтительно поклонившись королю, он вышел вслед за ними.

— Он заговорит, сир, — сказала Луиза Лотарингская, вся трепеща. — Он заговорит, и ваше величество помилует его. Смотрите, на губах его выступает пена.

— Нет, нет, он что-то ищет глазами, — сказала Екатерина.

— Он ищет, только и всего. Но чего же он ищет?

— Да, черт побери! — воскликнул Генрих III, — догадаться не трудно. Он ищет господина герцога Пармского, господина герцога Гиза, он ищет его католическое величество, моего испанского брата, да, ищи, ищи! Может быть, ты воображаешь, что на Гревской площади устроить засаду еще легче, чем на дороге во Фландрию? На эшафот тебя возвел один Белльевр; так будь уверен, что у меня здесь найдется сотня Белльевров, чтобы помешать тебе сойти оттуда.

Сальсед увидел, как лучники отправились за лошадьми, увидел, как в королевскую ложу зашли президент и советники и как затем удалились: он понял, что король велел совершить казнь.

Тогда-то на его губах и проступила кровавая пена, которую заметила молодая королева: в охватившем его смертельном нетерпении несчастный до крови кусал себе губы.

— Никого, никого! — шептал он. — Никого из тех, кто обещал прийти мне на помощь! Подлецы! Подлецы! Подлецы!

Лейтенант Таншон подошел к эшафоту и обратился к палачу:

— Приготовьтесь, мастер.

Тот дал знак своим помощникам на другом конце площади. Видно было, как лошади, пробираясь через толпу, оставляли после себя, подобно кораблю в море, волнующуюся борозду, которая постепенно сглаживалась.

То были собравшиеся на площади зрители: быстрое движение коней оттесняло их в разные стороны или сбивало с ног. Но взбаламученное море тотчас же успокаивалось, и часто те, кто стоял ближе к эшафоту, оказывались теперь сзади, ибо более сильные раньше их заполняли пустое пространство.

Когда лошади дошли до угла Ваннери, можно было заметить, как некий, уже знакомый нам красивый молодой человек соскочил с тумбы, на которой стоял: его толкнул с нее мальчик лет пятнадцати-шестнадцати, видимо, страстно увлеченный ужасным зрелищем.

То были таинственный паж и виконт Эрнотон де Карменж.

— Скорее, скорее, — шептал паж на ухо своему спутнику, — пробивайтесь вперед, пока можно, нельзя терять ни секунды.

— Но нас же задушат, — ответил Эрнотон, — вы, дружок мой, просто обезумели.

— Я хочу видеть, видеть как можно лучше, — властно произнес паж; чувствовалось, что это приказ, исходивший от существа, привыкшего повелевать. Эрнотон повиновался.

— Поближе к лошадям, поближе к лошадям, — сказал паж, — не отступайте от них ни на шаг, иначе мы не доберемся.

— Но пока мы доберемся, вас разорвут на части.

— Обо мне не беспокойтесь. Вперед! Вперед!

— Лошади начнут брыкаться!

— Хватайте крайнюю за хвост: в таких случаях лошади никогда не брыкаются.

Эрнотон помимо воли подчинился странному влиянию мальчишка. Он послушно ухватился за хвост лошади, а паж, в свою очередь, уцепился за его пояс.

И среди всей этой толпы, волнующейся, как море, густой, словно колючий кустарник, оставляя на дороге то клочок плаща, то лоскут куртки, то даже гофрированный воротник рубашки, они вместе с лошадьми оказались наконец в трех шагах от эшафота, где в судорогах отчаяния корчился Сальсед.

— Ну как, добрались мы? — прошептал юноша, еле переводя дух, когда почувствовал, что Эрнотон остановился.

— Да, — ответил виконт, — к счастью, добрались, я уже обесилел.

— Я ничего не вижу.

— Пройдите вперед.

— Нет, нет, еще рано... Что там делают?

— Вяжут петли на концах канатов.

— А он, он что делает?

— Кто он?

— Осужденный.

— Озирается по сторонам, словно насторожившийся ястреб.

Лошади стояли у самого эшафота, так что помощники палача смогли привязать к рукам и ногам Сальседа постромки, прикрепленные к хомутам.

Когда петли канатов грубо врезались ему в лодыжки, Сальсед издал рычание.

Тогда последним невыразимым взглядом он окинул огромную площадь, так что все сто тысяч зрителей оказались в поле его зрения.



Лошади стояли у самого эшафота, так что помощники палача смогли привязать к рукам и ногам Сальседа постромки, прикрепленные к хомутам.

— Сударь, — учтиво сказал ему лейтенант Таншон, — не угодно ли вам будет обратиться к народу до того, как мы начнем?

И на ухо осужденному он прошептал:

— Чистосердечное признание... и вы спасете свою жизнь.

Сальсед заглянул ему в глаза, проникая до самого дна души. Взгляд этот был настолько красноречив, что он, казалось, вырвал правду из сердца Таншона и притянул к его глазам так, что вся она раскрылась перед Сальседом.

Тот не мог обмануться; он понял, что лейтенант вполне искренен, что он выполнит обещанное.

— Видите, — продолжал Таншон, — вас покинули на произвол судьбы. Единственная ваша надежда то, что я вам предлагаю.

— Хорошо! — с хриплым вздохом вырвалось у Сальседа. — Угломоните толпу. Я готов говорить.

- Король требует письменного признания за вашей подписью.
- Тогда развяжите мне руки и дайте перо. Я напишу.
- Признание?
- Да, признание, я согласен.

Ликующему Таншону пришлось только дать знак: все было предусмотрено. У одного из лучников находилось в руках все: он передал лейтенанту чернильницу, перья, бумагу, которые тот и положил прямо на доски эшафота.

В то же время канат, крепко охватывавший руку Сальседа, отпустили фута на три, а его самого приподняли на помосте, чтобы он мог писать.

Сальсед, очутившись наконец в сидячем положении, несколько раз глубоко вздохнул и, разминая руки, вытер губы и откинул влажные от пота волосы, которые спадали к его коленям.

— Ну, ну, — сказал Таншон, — садитесь поудобнее и напишите все подробно!

— О, не бойтесь, — ответил Сальсед, протягивая руку к перу, — не бойтесь, я все припомню тем, кто меня позабыл.

С этими словами он в последний раз окинул взглядом площадь.

Видимо, для пажа наступило время показаться, ибо, схватив Эрнотона за руку, он сказал:

— Сударь, молю вас, возьмите меня на руки и приподнимите повыше: из-за голов я ничего не вижу.

— Да вы просто ненасытны, молодой человек, ей-богу!

— Еще только одну эту услугу, сударь!

— Вы уж, право, злоупотребляете.

— Я должен увидеть осужденного, понимаете? Я должен его увидеть.

И так как Эрнотон как будто медлил с ответом, он взмолился:

— Сжальтесь, сударь, сделайте милость, умоляю вас!

Теперь мальчик был уже не капризным тираном, он молил так жалобно, что невозможно было устоять.

Эрнотон взял его на руки и приподнял не без удивления — таким легким показалось его рукам это юное тело.

Теперь голова пажа вознеслась над головами всех прочих зрителей.

Как раз в это мгновение, оглядев еще раз всю площадь, Сальсед взялся за перо.

Он увидел лицо юноши и застыл от изумления.

В тот же миг паж приложил к губам два пальца. Невыразимая радость озарила лицо осужденного: она похожа была на

опьянение, охватившее злого богача из евангельской притчи, когда Лазарь уронил ему на пересохший язык каплю воды.

Он увидел знак, которого так нетерпеливо ждал, знак, возвещавший, что ему будет оказана помощь.

В течение нескольких секунд Сальсед смотрел на площадь, затем схватил лист бумаги, который протягивал ему обеспокоенный его колебаниями Таншон, и принялся с лихорадочной поспешностью писать.

— Пишет, пишет! — пронеслось в толпе.

— Пишет! — произнес король. — Клянусь Богом, я его помилую.

Внезапно Сальсед перестал писать и еще раз взглянул на юношу.

Тот повторил свой знак, и Сальсед снова стал писать.

Затем, после еще более короткого промежутка, он опять поднял глаза.

На этот раз паж не только сделал знак пальцами, но и кивнул головой.

— Вы кончили? — спросил Таншон, не спускавший глаз с бумаги.

— Да, — машинально ответил Сальсед.

— Так подпишите.

Сальсед поставил свою подпись, не глядя на бумагу, глаза его были устремлены на юношу.

Таншон протянул руку к бумаге.

— Королю, одному лишь королю! — произнес Сальсед.

И он отдал бумагу лейтенанту короткой мантии, но слегка поколебавшись, словно побежденный воин, вручающий врагу свое последнее оружие.

— Если вы действительно во всем признались, господин де Сальсед, — сказал лейтенант, — то вы спасены.

Улыбка ироническая, но вместе с тем немного тревожная, заиграла на губах осужденного, который словно нетерпеливо спрашивал о чем-то какого-то неведомого собеседника.

Под конец усталый Эрнотон решил освободиться от обременявшего его юноши; он разъял руки, и паж соскользнул на землю.

Вместе с тем исчезло и то, что поддерживало осужденного.

Не видя больше молодого человека, Сальсед стал искать его повсюду глазами. Затем, словно в смятении, он вскочил:

— Ну когда же, когда!

Никто ему не ответил.

— Скорее, скорее, торопитесь, — крикнул он. — Король уже взял бумагу, сейчас он прочитает ее.

Никто не шевельнулся.

Король поспешно развернул признание Сальседа.

— О, тысяча демонов! — закричал Сальсед. — Неужто надомной посмеялись? Но ведь я ее узнал. Это была она, она!

Пробежав глазами первые несколько строк, король, видимо, пришел в негодование.

Затем он побледнел и воскликнул:

— О, негодяй! Злодей!

— В чем дело, сын мой? — спросила Екатерина.

— Он отказывается от своих показаний, матушка. Он утверждает, что никогда ни в чем не сознавался.

— А дальше?

— А дальше он заявляет, что господа де Гизы ни в чем не повинны и никакого отношения к заговору не имеют.

— Что ж, — пробормотала Екатерина, — а если это правда?

— Он лжет, — вскричал король, — лжет, как последний нехристь.

— Почему знать, сын мой? Может быть, господ де Гизов оклеветали. Может быть, судьи в своем чрезмерном рвении неверно истолковали показания.

— Что вы, государыня, — вскричал Генрих, не в силах более сдерживаться. — Я сам все слышал.

— Вы, сын мой?

— Да, я.

— А когда же это?

— Когда преступника подвергали пытке... Я стоял за занавесью. Я не пропустил ни одного его слова, и каждое это слово вонзилось мне в мозг, точно гвоздь, вбиваемый молотком.

— Так пусть же он снова заговорит под пыткой, раз иначе нельзя. Прикажите подхлестнуть лошадей.

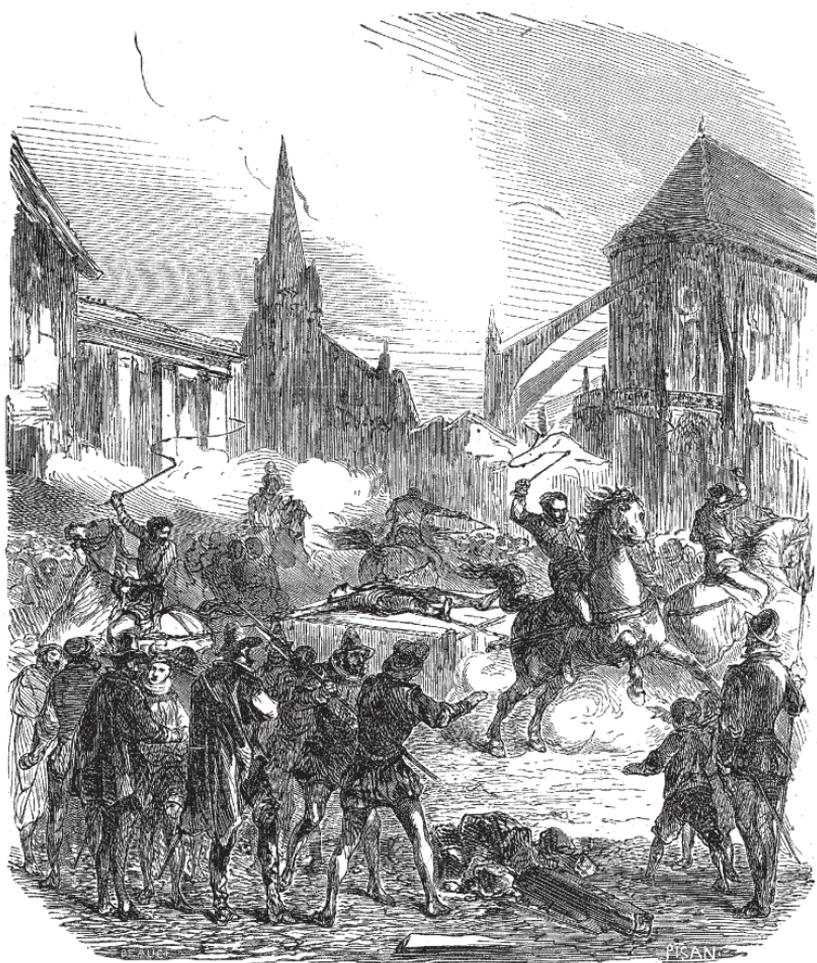
Разъяренный Генрих поднял руку.

Лейтенант Таншон повторил этот жест.

Канаты были уже снова привязаны к рукам и ногам осужденного. Четверо человек прыгнули на спины лошадей, хлестнули четыре кнута, и четыре лошади устремились в противоположных направлениях.

Ужасающий хруст и раздирающий вопль раздался с помоста эшафота. Видно было, как руки и ноги несчастного Сальседа посинели, вытянулись и налились кровью. В лице его уже не было ничего человеческого — оно казалось личной демона.

— Предательство, предательство! — закричал он. — Хорошо же, я буду говорить, я все скажу! А, проклятая гер...



*Канаты были привязаны к рукам и ногам осужденного... хлестнули
четыре кнута, и четыре лошади устремились
в противоположных направлениях.*

Голос его покрывал лошадиное ржание и ропот толпы, но внезапно он стих.

— Стойте, стойте! — кричала Екатерина.

Но было уже поздно. Голова Сальседа, сперва приподнявшаяся в судорогах боли и ярости, упала вдруг на эшафот.

— Дайте ему говорить! — вопила королева-мать. — Стойте, стойте же!

Зрачки Сальседа, непомерно расширенные, не двигались, упорно глядя в ту группу людей, где он увидел пажа. Сообразительный Таншон стал смотреть в том же направлении.

Но Сальсед уже не мог говорить. Он был мертв. Таншон отдал тихим голосом какое-то приказание своим лучникам, которые тотчас же бросились туда, куда указывал избобличающий взор Сальседа.

— Я обнаружена, — шепнул юный паж на ухо Эрнотону. — Сжальтесь, помогите мне, спасите меня, сударь. Они идут, идут!

— Но чего же вы еще хотите?

— Бежать. Разве вы не видите, что они ищут меня?

— Но кто же вы?

— Женщина... Спасите, защитите меня!

Эрнотон побледнел. Однако великодушие победило удивление и страх.

Он поставил девушку перед собой и, энергично расталкивая толпу рукояткой своей шпаги, расчистил ей путь и протолкнул ее до угла улицы Мутон к какой-то открытой на улицу двери.

Юный паж бросился вперед и исчез за дверью, которая, казалось, только ждала того, ибо тотчас же за ним захлопнулась.

Эрнотон даже не успел спросить девушку, как ее имя и как им снова увидеться.

Но прежде чем исчезнуть, незнакомка, словно угадав его мысль, кивнула Эрнотону и бросила ему многообещающий взгляд.

Освободившись, Эрнотон направился обратно к центру площади и окинул взглядом сразу эшафот и королевскую ложу.

Сальсед, неподвижный, мертвенно-бледный, вытянувшись, лежал на помосте.

Екатерина, тоже мертвенно-бледная, вся дрожа, стояла у себя в ложе.

— Сын мой, — вымолвила она наконец, отирая со лба пот, — сын мой, вам бы следовало переменить главного палача, он — сторонник лиги.

— Из чего вы это заключаете, матушка? — спросил Генрих.

— Смотрите, смотрите хорошенько!

— Ну, я смотрю, а дальше что?

— Сальсед умер после первой же растяжки.

— Он оказался слишком чувствителен к боли.

— Да нет же, нет! — возразила Екатерина с презрительной усмешкой — очень уж непроницательным показался ей сын. — Его удавили из-под эшафота тонкой веревкой как раз в то мгновение, когда он намеревался обвинить тех, кто предал его на смерть. Велите какому-нибудь ученому врачу осмотреть труп, и, я уверена, вокруг его шеи найдут след от веревки.

— Вы правы, — произнес Генрих, и глаза его на мгновение вспыхнули, — моему кузену де Гизу служат лучше, чем мне.

— Тс, тс, сын мой! — сказала Екатерина. — Не поднимайте шума, над нами только посмеются: ведь мы опять одурачены.

— Жуаез правильно поступил, что пошел развлечься в другом месте. В этом мире больше ни на что нельзя положиться, даже на казнь. Пойдемте, пойдемте отсюда, государыни!

Глава VI БРАТЯ ЖУАЕЗ



ока на площади и в королевской ложе происходило все описанное выше, оба брата де Жуаез, как мы видели, выбрались из ратуши черным ходом и, оставив своих слуг с лошадьми у королевских экипажей, пошли рядышком по улицам этого обычно людного, но сейчас почти пустынного квартала; весь жадный до зрелищ народ собрался на Гревской площади.

Выйдя из ратуши, они зашагали рука об руку, но не говоря ни слова.

Анри, обычно такой веселый, был чем-то озабочен и почти угрюм.

Анн казался встревоженным и смущенным необщительностью брата.

Он первый прервал молчание:

— Куда же ты ведешь меня, Анри?

— Я никуда не веду тебя, брат, я просто иду куда глаза глядят, — ответил Анри, словно внезапно пробудившись. — Ты хочешь куда-нибудь направиться?

— А ты?

— О, мне-то безразлично, куда идти.

— Но ведь ты каждый вечер куда-то ходишь, — сказал Анн, — каждый вечер в один и тот же час ты удаляешься из дому и возвращаешься лишь поздно ночью, а то и вовсе не приходишь.

— Ты что же, расспрашиваешь меня, брат? — спросил Анри. В голосе его чувствовалась нежность, смешанная с известным уважением к старшему брату.

— Я стану тебя расспрашивать? — переспросил Анн. — Боже упаси! Чужая тайна неприкосновенна.

— Когда ты только пожелаешь, брат, — ответил Анри, — у меня от тебя не будет никаких тайн. Ты же сам это знаешь.

— У тебя не будет от меня тайн?

— Никогда, брат. Ведь ты и сеньор мой, и друг.

— По правде сказать, я думал, что у тебя могут быть от меня тайны: я ведь всего-навсего мирянин. Я думал, что для исповеди у тебя есть наш ученый братец, этот столп богословской науки, светоч веры, мудрый духовник всего двора, который когда-нибудь станет кардиналом, что ты доверяешься ему, исповедуешься у него, получаешь и отпущение грехов, и... кто знает? может быть, даже полезный совет. Ибо, — добавил Анн со смехом, — члены нашей семьи — на все руки мастера, тебе это хорошо известно: доказательство — наш возлюбленный батюшка.

Анри дю Бушаж схватил брата за руку и сердечно пожал ее.

— Ты для меня, милый мой Анн, — сказал он, — больше, чем духовник, больше, чем исповедник, больше, чем отец: поворачивая тебе — ты мой друг.

— Так скажи мне, друг мой, почему ты, прежде такой веселый, постепенно становишься все печальнее, почему ты выходишь теперь из дому не днем, а только по ночам?

— Я, брат, вовсе не грущу, — улыбнувшись, ответил Анри.

— Что же с тобой такое?

— Я влюблен.

— Ладно, откуда же такая озабоченность?

— Оттого, что я беспрерывно думаю о своей любви.

— Вот сейчас ты вздыхаешь!

— Да.

— Ты вздыхаешь, ты, Анри, граф дю Бушаж, брат Жуаеза, которого злые языки называют третьим королем Франции... Ты ведь знаешь, что второй — это господин де Гиз... если, впрочем, он не первый... ты, богатый, красивый, ты, который при первом же представившемся мне случае станешь, как я, пэром Франции и герцогом, — ты влюблен, погружен в раздумье, вздыхаешь... ты, избравший себе девизом: *Hilariter*¹.

— Милый мой Анн, от всех этих даров прошлого и обещаний будущего я никогда не ожидал счастья. Я не обладаю честолюбием.

— То есть больше не обладаешь.

— Во всяком случае, я не гонюсь за тем, о чем ты говоришь.

— Сейчас — возможно. Но потом это вернется.

— Никогда, брат. Я ничего не желаю. Ничего не хочу.

¹ Радостно (*лат.*). Намек на фамилию Жуаез, что означает «радостный».

— И ты не прав, брат. Тебя зовут Жуазе — это одно из лучших имен во Франции, твой брат — любимец короля, ты должен всего хотеть, ко всему стремиться, все получать.

Анри покачал своей белокурой, грустно поникшей головой.

— Послушай, — сказал Анн, — мы одни, вдали от всех. Черт побери, да мы и не заметив перешли реку и стоим на мосту Турнель. Не думаю, чтобы на этом пустынном берегу, у этой зеленой воды, при таком холодном ветре, нас кто-нибудь подслушал. Может быть, тебе надо сообщить мне что-нибудь важное?

— Ничего, ничего. Я просто влюблен, и ты это уже знаешь, брат, — ведь я сам тебе только что сказал.

— Но, черт возьми, — это же не серьезное дело, — вскричал Анн, топнув ногой. — Я ведь тоже, клянусь римским папой, влюблен.

— Не так, как я, брат.

— Я ведь тоже порой думаю о своей возлюбленной.

— Да, но не постоянно.

— У меня тоже бывают любовные огорчения, даже горести.

— Да, но у тебя есть и радости, ты любим.

— О, мне приходится преодолевать препятствия: от меня требуют соблюдения величайшей тайны.

— Требуют? Ты сказал «требуют», брат? Если твоя возлюбленная требует, значит, она тебе принадлежит.

— Ясное дело, она мне принадлежит, то есть принадлежит мне и господину Майену. Ибо, доверюсь я тебе, Анри, у меня одна любовница с этим бабником Майеном. Эта девица без ума от меня, она в один миг бросила бы Майена, только боится, чтоб он ее не убил, ты ведь знаешь: убивать женщин вошло у него в привычку. Вдобавок я ненавижу этих Гизов, и меня забавляет... развлекаться за их счет. Ну так вот, говорю тебе, повторяю, у меня бывают препятствия и размолвки, но из-за этого я не становлюсь мрачным, как монах, не тарашу глаз. Продолжаю смеяться, если не всегда, то хотя бы время от времени. Ну же, доверься мне, кого ты любишь? Твоя любовница, по крайней мере, красива?

— Увы, брат, она вовсе не моя любовница.

— Но она красива?

— Даже слишком.

— Как ее зовут?

— Не знаю.

— Ну вот еще!

— Клянусь честью.

— Друг мой, я начинаю думать, что дело опаснее, чем мне казалось. Это уже не грусть, клянусь папой. Это безумие!

— Она говорила со мной лишь один раз, или, вернее, она лишь один раз говорила в моем присутствии, и с той поры я ни разу не слышал ее голоса.

— И ты ничего о ней не разузнавал?

— У кого?

— Как у кого? У соседей.

— Она живет одна в доме, и никто ее не знает.

— Что ж, выходит — это какая-то тень?

— Это женщина, высокая и прекрасная, как нимфа, не улыбочивая и строгая, как архангел Гавриил.

— Как ты узнал ее? Где вы встретились?

— Однажды я увязался за какой-то девушкой на перекрестке Жипесьен, зашел в садик у церкви. Там под деревьями есть плита. Ты когда-нибудь заходил в этот сад?

— Никогда. Но неважно, продолжай. Плита под деревьями, ну а дальше что?

— Начинало смеркаться. Я потерял девушку из виду и, разыскивая ее, подошел к этой плите.

— Ну, ну, я слушаю.

— Подходя, я заметил кого-то в женском платье, я протянул руки, но вдруг голос какого-то мужчины, мною раньше не замеченного, произнес: «Простите, сударь, простите», — и рука этого человека отстранила меня без резкости, но твердо.

— Он осмелился коснуться тебя, Жуазе?

— Послушай. Лицо его было скрыто чем-то вроде капюшона: я принял его за монаха. Кроме того, на меня произвел впечатление его вежливый, даже дружелюбный тон, он указывал на находившуюся шагах в десяти от нас женщину, чье белое одеяние привлекло меня в ту сторону: она как раз преклонила колени перед каменной плитой, словно то был алтарь.

Я остановился, брат. Случилось это в начале сентября. Воздух был теплый. Розы и фиалки, посаженные верующими на могилах в этом садике, оведали меня нежным ароматом. За колокольней церкви сквозь белесоватое облачко прорывался лунный луч, посеребривший верхние стекла витражей, в то время как нижние золотил отблеск зажженных в церкви свечей. Друг мой, подействовала ли на меня торжественность обстановки или благородная внешность этой коленапреклоненной женщины, но она сияла для меня в темноте, словно мраморная статуя, словно сама была действительно из мрамора. Я ощутил к ней непонятное почтение, и в сердце мое проник какой-то холод.

Я жадно глядел на нее.

Она склонилась над плитой, обняла ее обеими руками, при-
никла к ней губами, и я увидел, как плечи ее сотрясаются от
вздохов и рыданий. Такого голоса ты, брат, никогда не слышал:
никогда еще острая сталь не пронзала чье-либо сердце так му-
чительно, как мое.

Плача, она целовала камень, словно в каком-то опьянении,
и тут я просто погиб. Слезы ее растрогали мое сердце, поцелуи
эти довели меня до безумия.

— Но, клянусь папой, это она обезумела, — сказал Жуаез, —
кому придет в голову целовать камень и рыдать безо всякого
повода?

— О, рыдания эти вызвала великая скорбь, а целовать ка-
мень заставила ее глубокая любовь. Но кого же она любила?
Кого оплакивала? За кого молилась?

— А ты не расспрашивал мужчину?

— Расспрашивал.

— Что он тебе ответил?

— Что она потеряла мужа.

— Да разве мужей так оплакивают? — сказал Жуаез. — Ну и
ответ, черт побери. И ты им удовлетворился?

— Пришлось: другого он мне дать не пожелал.

— Он сам, этот человек, кто он?

— Нечто вроде живущего у нее слуги.

— А как его зовут?

— Он не захотел сказать.

— Молод?.. Стар?

— Лет двадцати восьми — тридцати.

— Ну ладно, а дальше?.. Она ведь не всю ночь напролет мо-
лилась и плакала, правда?

— Нет. Перестав плакать, то есть истощив все свои слезы и
устав прижимать губы к каменной плите, она поднялась. Такая
таинственная скорбь осеняла эту женщину, что я, вместо того
чтобы устремиться за ней, как сделал бы в любом другом слу-
чае, отступил. Тогда-то она подошла ко мне, вернее, пошла в
мою сторону, ибо меня она даже не заметила. Лунный луч оза-
рил ее лицо, и оно показалось мне сияющим, необыкновенно
прекрасным: на него снова легла печать скорбной суровости.
Ни трепета, ни содроганий, ни слез — оставался только их
влажный след. Одни глаза еще блестели. Полуоткрытый рот
вбирал в себя дыхание жизни, которое еще миг назад, казалось,
оставляло ее. Медленно, томно прошла она несколько шагов,
как люди, блуждающие во сне. Тот человек поспешил к ней и
взял ее за руку, ибо она, по-видимому, не сознавала, что ступа-

ет по земле. О брат, какая пугающая красота и какая в ней была сверхчеловеческая сила! Ничего подобного я на свете еще не видел: лишь иногда во сне, когда передо мною раскрывалось небо, оттуда нисходили видения, подобные этой яви.

— Дальше, Анри, дальше? — спросил Анн, увлеченный помимо воли этим рассказом, над которым он намеревался посмеяться.

— Рассказ мой сейчас кончится, брат. Слуга произнес шепотом несколько слов, и она опустила покрывало. Наверно, он сказал ей, что здесь нахожусь я, но она даже не взглянула в мою сторону. Она опустила покрывало, и больше я не видел ее, брат. Мне почудилось, что все небо заволокло и что она не живое существо, а тень, выступившая из этих могил, которые, пока я шел, безмолвно проплывали мимо меня, заросшие буйной травой.

Она вышла из садика, я последовал за ней. Слуга время от времени оборачивался и мог меня видеть, ибо я не скрывался, как ни был потрясен. Что поделаешь? Надо мной еще властны были прежние пошлые привычки, в сердце еще оставалась закваска былой грубости.

— Что ты хочешь сказать, Анри? — спросил Анн. — Я тебя не понимаю.

Юноша улыбнулся.

— Я хочу сказать, брат, что провел бурную молодость, что мне часто казалось, будто я полюбил, и что до этого мгновения я мог любой приглянувшейся мне женщине предложить свою любовь.

— Ого, а она-то что же такое? — сказал Жуаез, стараясь вновь обрести веселость, несколько сникшую от признаний брата. — Берегись, Анри, ты заговариваешься. Разве это не женщина из плоти и крови?

— Брат, — ответил юноша, лихорадочно пожимая руку Жуаеза, — брат, — произнес он так тихо, что его дыхание едва долетало до слуха старшего, — беру Господа Бога в свидетели — я не знаю, существо ли она от мира сего.

— Клянусь папой! — вскричал тот. — Я бы испугался, если бы кто-нибудь из Жуаезов способен был испытывать страх.

Затем, пытаясь вернуть себе веселое расположение духа, он сказал:

— Но в конце-то концов, она ходит по земле, плачет и умеет целовать — ты сам говорил — и, по-моему, это, друг милый, не предвещает худого. Но ведь на том не кончилось, что же было дальше?

— Дальше почти ничего. Я шел вслед за ней, она не попыталась скрыться, свернуть с дороги, переменить направление. Она, видимо, даже и не думала о чем-либо подобном.

— Так где же она жила?

— Недалеко от Бастилии, на улице Ледигьер. Когда они дошли до дому, спутник ее обернулся и увидел меня.

— Тогда ты сделал ему знак, что хотел бы с ним поговорить?

— Я не осмелился. То, что я тебе скажу, покажется нелепостью, но перед слугой я робел почти так же, как и перед его госпожой.

— Все равно, в дом-то ты вошел?

— Нет, брат мой.

— Право же, Анри, просто не верится, что ты Жуаез. Но на другой день ты, по крайней мере, вернулся туда?

— Да, но тщетно. Тщетно ходил я и на перекресток Жипесьен, тщетно и на улицу Ледигьер.

— Она исчезла?

— Ускользнула, как тень.

— Но ты расспрашивал о ней?

— Улица мало населена, никто не мог мне ничего сообщить. Я подстерегал того человека, чтобы расспросить его, но он, как и она, больше не появлялся. Однако свет, проникавший по вечерам сквозь щели ставен, утешал меня, указывая, что она еще здесь. Я испробовал сотни способов проникнуть в дом: письма, цветы, подарки — все было напрасно. Однажды вечером даже свет не появился и больше уже не появлялся ни разу: даме, наверно, наскучило мое преследование, и она переехала с улицы Ледигьер. И никто не мог сказать — куда.

— Однако ты все же разыскал эту прекрасную дикарку?

— По счастливой случайности. Впрочем, я несправедлив, брат, в дело вмешалось Провидение, не допускающее, чтобы человек бессмысленно тратил дни своей жизни. Послушай, право же, все произошло очень странно. Две недели назад, в полночь, я шел по улице Бюсси. Ты знаешь, брат, что приказ о тушении огня строжайше соблюдается. Так вот, окна одного дома не просто светились — на третьем этаже был настоящий пожар. Я принялся яростно стучаться в двери, в окне показался человек. «У вас пожар!» — сказал я. «Тише, сжальтесь над нами! — ответил он. — Тише, я как раз тушу его». — «Хотите, я позову ночную стражу?» — «Нет, нет, во имя Неба, никого не зовите». — «Но, может быть, вам все-таки помочь?» — «А вы не отказались бы? Так идите сюда, и вы окажете мне услугу, за которую я буду благодарен вам всю жизнь». И он бросил мне через окно ключ. Я быстро поднялся по лестнице и вошел в комнату, где произошел пожар. Горел пол. Я находился в лаборатории химика. Он делал какой-то опыт, горячая жидкость

разлилась по полу, который и вспыхнул. Когда я вошел, химик уже справился с огнем, благодаря чему я мог его разглядеть. Это был человек лет двадцати восьми — тридцати. По крайней мере, так мне показалось. Ужасный шрам рассекал ему щеки, другой глубоко врезался в лоб. Все остальные черты скрывала густая борода. «Спасибо, сударь, но вы сами видите, что все уже кончено. Если вы, как можно судить по внешности, человек благородный, будьте добры, удалитесь, так как в любой момент может зайти моя госпожа, а она придет в негодование, увидев в такой час чужого человека у меня, вернее же — у себя в доме». Услышав этот голос, я оцепенел, повергнутый почти что в ужас. Я открыл рот, чтобы крикнуть: «Вы человек с перекрестка Жипесьен, с улицы Ледигьер, слуга неизвестной дамы!» Ты помнишь, брат, он был в капюшоне, лица его я не видел, а только слышал голос. Я хотел сказать ему это, расспросить, умолять его, как вдруг открылась дверь, и вошла женщина. «Что случилось, Реми? — спросила она, величественно останавливаясь на пороге. — Почему такой шум?» О брат, это была она, еще более прекрасная в затухающем блеске пожара, чем в лунном сиянье. Это была она, женщина, память о которой непрерывно терзала мое сердце. Услышав мое восклицание, слуга, в свою очередь, пристально посмотрел на меня. «Благодарю вас, сударь, — сказал он, — еще раз благодарю, но вы сами видите — огонь потушен. Удалитесь, молю вас, удалитесь». — «Друг мой, — ответил я, — вы меня очень уж нелюбезно выпроваживаете». — «Сударыня, — сказал слуга, — это он». — «Да кто же?» — спросила она. «Молодой дворянин, которого мы встретили у перекрестка Жипесьен и который следовал за нами до улицы Ледигьер». Тогда она взглянула на меня, и по взгляду ее я понял, что она видит меня впервые. «Сударь, — молвила она, — умоляю вас, удалитесь!» Я колебался, я хотел говорить, просить, но слова не слетали с языка. Я стоял неподвижный, немой и только смотрел на нее. «Остерегитесь, сударь, — сказал слуга скорее печально, чем сурово, — вы заставите госпожу бежать во второй раз». — «О, не дай бог, — ответил я с поклоном, — но ведь я ничем не оскорбил вас, сударыня». Она не ответила. Бесчувственная, безмолвная, ледяная, она, словно и не слыша меня, отвернулась, и я увидел, как она постепенно исчезает, словно это двигался призрак.

— И все? — спросил Жуаз.

— Все. Слуга проводил меня до дверей, приговаривая: «Забудьте обо всем этом, ради Господа Иисуса и Девы Марии, умоляю вас, забудьте!» Я убежал, охватив голову руками, растеря-

ный, ошалевший, недоумевающий — уж не сошел ли я действительно с ума? С той поры я каждый вечер хожу на эту улицу, и вот почему, когда мы вышли из ратуши, меня естественным образом повлекло в ту сторону. Каждый вечер, повторяю, хожу я туда и прячусь за углом дома, стоящего как раз напротив ее жилища, под какой-то балкончик, где меня невозможно увидеть. И, может быть, один раз из десяти мне удастся уловить мерцающие света в ее комнате: в этом вся моя жизнь, все мое счастье.

— Хорошее счастье! — вскричал Жуаез.

— Увы! Стремясь к другому, я потеряю и это.

— А если ты погубишь себя такой покорностью судьбе?

— Брат, — сказал Анри с грустной улыбкой, — чего ты хочешь? Так я чувствую себя счастливым.

— Это невозможно!

— Что поделаешь? Счастье — вещь относительная. Я знаю, что она там, что она там существует, дышит. Я вижу ее сквозь стены, то есть мне кажется, что вижу. Если бы она покинула этот дом, если бы мне пришлось провести еще две недели таких же, как тогда, когда я ее потерял, брат мой, я бы сошел с ума или же стал монахом.

— Нет, клянусь Богом! Достаточно у нас в семье одного безумца и одного монаха. Удовлетворимся этим, милый мой друг.

— Не уговаривай меня, Анн, и не насмехайся надо мной! Уговоры будут бесполезны, насмешками ты ничего не добьешься.

— А кто тебе говорит об уговорах и насмешках?

— Тем лучше... Но...

— Позволь мне сказать одну вещь.

— Что именно?

— Что ты попался, как простой школьник.

— Я не строил никаких замыслов, ничего не рассчитывал, я отдался чему-то более сильному, чем я. Когда тебя уносит течение, лучше плыть по нему, чем бороться с ним.

— А если оно увлекает в пучину?

— Надо погрузиться в нее, брат.

— Ты так полагаешь?

— Да.

— Я с тобой не согласен, и на твоём месте...

— Что бы ты сделал, Анн?

— Во всяком случае, я бы выведал ее имя, возраст. На твоём месте...

— Анн, Анн, ты ее не знаешь.

— Но тебя-то я знаю. Как так, Анри, у тебя было пятьдесят тысяч экю, которые я вручил тебе, когда король подарил мне в день моего рождения сто тысяч...

— Они до сих пор лежат у меня в сундуке, Анн: ни одно не истрачено.

— Тем хуже, клянусь Богом. Если бы они не лежали у тебя в сундуке, эта женщина лежала бы у тебя в алькове.

— О, брат!

— Никаких там «о брат»: обыкновенного слугу подкупают за десять экю, хорошего за сто, отличного за тысячу, самого расчудесного за три тысячи. Ну, представим себе феникса среди слуг, возмечтаем о божестве верности, и за двадцать тысяч экю — клянусь папой — он будет твоим. Таким образом, у тебя остается сто тридцать тысяч ливров, чтобы оплатить феникса среди женщин, которого тебе поставит феникс среди слуг. Анри, друг мой, ты просто дурак.

— Анн, — со вздохом произнес Анри, — есть люди, которые не продаются, есть сердца, которых не купить и королю.

Жуазе успокоился.

— Хорошо, согласен, — сказал он. — Но нет таких, которые бы не отдались кому-нибудь.

— Это другое дело!

— Ну, так что же ты сделал для того, чтобы эта бесчувственная красавица отдала тебе свое сердце?

— Я убежден, Анн, что сделал все для меня возможное.

— Послушайте, граф дю Бушаж, да вы просто спятили! Перед вами женщина, которая скорбит, сидит взаперти, плачет, а вы становитесь еще печальнее, замкнутее, проливаете еще больше слез, то есть оказываетесь еще скучнее, чем она! Право же, вы распространялись тут насчет пошлых способов ухаживания, а сами ведете себя не лучше обыкновенного квартального. Она одинока, бывайте с нею почаще; она печальна, будьте веселы; она кого-то оплакивает, утешьте ее и замените покойного.

— Невозможно, брат.

— А ты пробовал?

— Для чего?

— Да хотя бы просто чтобы попробовать. Ты же говоришь, что влюблен?

— Нет слов, чтобы выразить мою любовь.

— Ну так через две недели она станет твоей любовницей.

— Брат!

— Даю тебе слово Жуазе. Ты, надеюсь, не отчаялся?

- Нет, ибо никогда не надеялся.
- В котором часу ты с ней видишься?
- В котором часу я с ней вижу?
- Ну да.
- Но я же говорил тебе, брат, что никогда не вижу ее.
- Никогда?
- Никогда.
- Даже в окне?
- Даже там ее не вижу, говорю тебе.
- Это должно прекратиться. Есть у нее любовник?
- Я не видел, чтобы порог ее дома когда-либо переступал мужчина, за исключением этого Реми, о котором я рассказывал тебе.
- Что представляет собой ее дом?
- Три этажа, крыльцо с одной ступенькой, над окном второго этажа — терраса.
- Можно проникнуть в дом через эту террасу?
- Она не соприкасается с другими домами.
- А что напротив дома?
- Другой, довольно похожий дом, только, кажется, повыше.
- Кто в нем живет?
- Какой-то буржуа.
- Добродушный или злыдня?
- Добродушный, иногда я слышу, как он смеется своим мыслям.
- Купи у него дом.
- А кто тебе сказал, что он продается?
- Предложи ему двойную цену.
- А если дама увидит меня там?
- Ну так что же?
- Она опять исчезнет. Если же я не буду показываться, то надеюсь, что рано или поздно опять увижу ее...
- Ты увидишь ее сегодня же вечером.
- Я?
- Пойди и стань под ее балконом в восемь часов.
- Я и буду там, как бываю ежедневно, но, как и в другие дни, безо всякой надежды.
- Кстати, скажи мне точный адрес.
- Между воротами Бюсси и дворцом Сен-Дени, почти на углу улицы Августинцев, шагах в двадцати от большой гостиницы под вывеской «Меч гордого рыцаря».
- Отлично, так в восемь увидимся.
- Что ты собираешься делать?

— Увидишь, услышишь. А пока возвращайся домой, нарядись как можно лучше, надень самые дорогие украшения, надуй волосы самыми тонкими духами: нынче же вечером ты вступишь в эту крепость.

— Бог да услышит тебя, брат!

— Анри, когда Бог не слышит, дьявол навострит ухо. Я покидаю тебя, меня ждет моя любовница, то есть я хочу сказать — любовница господина де Майена. Клянусь папой! Ее-то уж нельзя назвать недотрогой.

— Брат!

— Прости, ты ведь полон возвышенных чувств. Я не сравниваю этих двух дам, будь уверен, хотя, судя по твоим рассказам, я предпочитаю свою или, вернее, нашу с Майеном. Но она меня ждет, а я не хочу заставлять ее ждать. Прощай, Анри, до вечера!

— До вечера, Анн.

Братья пожали друг другу руки.

Один, пройдя шагов двести, подошел к красивому дому готического стиля, неподалеку от паперти Нотр-Дам, смело поднял и с шумом опустил дверной молоток.

Другой молча углубился в одну из извилистых улочек, ведущих к зданию суда.

Глава VII КАК «МЕЧ ГОРДОГО РЫЦАРЯ» ВОЗОБЛАДАЛ НАД «РОЗОВЫМ КУСТОМ ЛЮБВИ»



о время беседы, которую мы только что пересказали, спустилась ночь, окутывая влажной туманной пеленой город, столь шумный еще два часа назад.

К тому же Сальсед умер, и зрители решили разойтись по домам. На улицах видны были лишь небольшие, разбросанные там и сям кучки людей, вместо непрерывной цепи любопытных, которые днем сходились в одно и то же место.

До самых отдаленных от Гревской площади кварталов еще доходили эти отдельные всплески человеческих волн: недаром в самом центре так долго царило бурное волнение.

Так, например, обстояло дело у ворот Бюсси, куда мы должны сейчас перенестись, чтобы не терять из виду кое-кого из действующих лиц, уже выведенных нами в начале этого пове-

ствования, и чтобы познакомиться с новыми: в этом конце города шумел, словно улей на закате солнца, некий дом, выкрашенный в розовую краску и вдобавок расписанный белой и голубой. Дом именовался «Меч гордого рыцаря», но представлял собой всего-навсего гостиницу, — правда, огромных размеров, — недавно выстроенную в этом квартале. В те времена в Париже не было ни одной более или менее приличной гостиницы, на которой не красовалась бы пышная вывеска. Вывеска «Меч гордого рыцаря» и являлась тем дивным фасадным украшением, призванным удовлетворить все вкусы и привлечь к себе все симпатии.

На карнизе была изображена битва какого-то архангела или святого с драконом, извергающим, подобно чудовищу Ипполита, целые потоки пламени и дыма. Художник, воодушевленный и героическими и в то же время благочестивыми чувствами, дал в руки своему вооруженному до зубов гордому рыцарю не меч, а громадный крест, которым тот лучше, чем самым острым кинжалом, разрубал несчастного дракона на две кровоточащие половины.

На заднем плане этой вывески или, вернее, картины, ибо она вполне заслуживала такого наименования, видны были многочисленные зрители боя, воздевавшие руки к небу, с которого ангелы осеяли шлем гордого рыцаря лавровыми и пальмовыми ветвями.

Наконец на самом переднем плане художник, стремясь доказать, что ни один жанр ему не чужд, изобразил груды тыкв, гроздья винограда, майских жуков, ящериц, улитку на розе и даже двух кроликов, белого и серого, которые, несмотря на различие в цвете (что могло указывать на различие в убеждениях), оба чесали себе носы, вероятно, выражая этим радость по случаю славной победы, одержанной гордым рыцарем над сказочным драконом, являвшимся не кем иным, как самим сатаной.

Во всяком случае, если хозяин гостиницы не оказался чрезмерно требовательным, он должен был быть вполне удовлетворен добросовестностью художника. Тот действительно использовал все предоставленное ему пространство: если бы потребовалось пририсовать какого-нибудь жалкого клеща, места на картине уже не хватило бы.

Теперь мы должны сделать одно признание: как оно для нас ни огорчительно, вынуждает к нему добросовестность историка. Эта роскошная вывеска отнюдь не доказывала, что кабачок, подобно ей, был в хорошие дни полон народу. Напротив, по

причинам, которые мы сейчас изложим и которые, надеемся, поняты будут читателями, в гостинице «Гордого рыцаря» не только временами, но почти всегда было много свободных мест.

Между тем заведение, как сказали бы в наши дни, было просторное и комфортабельное: над четырехугольным строением, прочно сидевшим на широком фундаменте, поверх вывески горделиво высились четыре башенки, в каждой из которых имелась восьмиугольная комната. Правда, все это было сооружено из досок, однако имело вид кокетливый и несколько таинственный, как и полагается каждому дому, который должен прийти по вкусу и мужчинам и, в особенности, женщинам. Но в том-то и коренилось зло.

Всем понравиться невозможно.

Однако же этого мнения не разделяла г-жа Фурнишон, хозяйка «Гордого рыцаря». И соответственно своим взглядам на вещи она убедила своего супруга оставить банное заведение на улице Сент-Оноре, где они до того времени прозябали, и заняться верчением вертелов и откупориванием бутылок на благо влюбленным парочкам перекрестка Бюсси и даже многих других парижских кварталов. К несчастью для притязаний г-жи Фурнишон, ее гостиница расположена была слишком близко от Пре-о-Клер, так что в «Меч гордого рыцаря» являлись привлеченные близким соседством и пышной вывеской многочисленные парочки, намеревающиеся вступить в поединок, а другим парочкам, менее воинственно настроенным, приходилось чураться бедной гостиницы, словно чумы — так опасались они шума и лязганья шпаг. Влюбленные — народ мирный, они не любят, чтобы им мешали, так что в башенках, предназначенных для любовных походов, приходилось устраивать на ночлег всяких вояк, а купидоны, изображенные на деревянных панно тем же художником, который создал вывеску, оказались разукрашены усами и другими более или менее пристойными атрибутами: тут уж поработали углем завсегдатаи гостиницы.

Поэтому г-жа Фурнишон — до сей поры не без основания, по правде сказать, — считала, что вывеска принесла их заведению несчастье, и утверждала, что следовало положиться на ее опыт и нарисовать над входом, вместо гордого рыцаря и гнусного, всех отталкивающего дракона, например, «Розовый куст любви», с пышными сердцами вместо цветов: тогда все нежные души обязательно избрали бы ее гостиницу своим убежищем.

К несчастью, мэтр Фурнишон, не желая признаваться, что он раскаивается в своей идее и что эта идея оказалась столь пагубной

для его вывески, не считался с замечаниями своей хозяйки и, пожимая плечами, заявлял, что он, бывший пехотинец г-на Данвиля, естественно, должен вербовать своих клиентов в военной среде. Он добавлял, что рейтар, у которого только и мыслей — как бы выпить, пьет за шестерых влюбленных и что, даже если он заплатит лишь половину того, что с него требуется по раскладке, это все же выгоднее: ведь даже самые расточительные любовники не заплатят столько, сколько три рейтара вместе.

К тому же, заключал он, вино — вещь более нравственная, чем любовь.

При этих его словах г-жа Фурнишон, в свою очередь, пожимала плечами, достаточно пухлыми, чтобы злосычные люди считали себя вправе сомневаться в добропорядочности ее воззрений на нравственность.

Так в семействе Фурнишонов и царил разлад, а супруги прозябали на перекрестке Бюсси, как прозябали они на улице Сент-Оноре, но вдруг некое непредвиденное обстоятельство изменило все положение и дало восторжествовать взглядам мэтра Фурнишона, к вящей славе достойной вывески, где нашли себе место представители всех царств природы.

За месяц до казни Сальседа, после кое-каких военных упражнений, состоявшихся в Пре-о-Клер, г-жа Фурнишон и супруг ее сидели, как обычно, каждый в одной из угловых башенок своего заведения. Делать им было нечего, и они погружены были в хладную задумчивость, так как все столики и все комнаты в гостинице «Гордого рыцаря» стояли незанятыми.

В тот день на «Розовом кусте любви» не расцвел ни один цветок.

В тот день «Меч гордого рыцаря» наносил холостые удары.

Итак, супруги горестно взирали на поле, с которого удалялись, чтобы погрузиться на паром у Нельской башни и вернуться в Лувр, солдаты, только что бывшие на учении под командой своего капитана. Глядя на них и жалуясь на деспотизм военного начальника, заставляющего возвращаться в кордегардию солдат, которым, несомненно, так хотелось пить, они заметили, что капитан пустил свою лошадь рысью и в сопровождении одного лишь ординарца направился к воротам Бюсси.

Этот горделиво гарцевавший на белом коне офицер в шляпе с перьями и при шпаге в позолоченных ножнах, торчавшей из-под прекрасного плаща фландрского сукна, минут через десять поравнялся с гостиницей.

Но ехал он не в гостиницу и потому намеревался уже миновать ее, даже не взглянув на вывеску, ибо его, казалось, трево-

жили какие-то важные мысли, когда мэтр Фурнишон, чье сердце сжималось при мысли, что в этот день никто так и не сделает ему почина, высунулся из своей башенки и сказал:

— Смотри-ка, жена, конь-то какой чудесный!

На что г-жа Фурнишон, как опытная хозяйка гостиницы, сразу же нашла ответ:

— А всадник-то каков, всадник!

Капитан, видимо, равнодушный к похвале, откуда бы она ни исходила, поднял голову, словно внезапно очнувшись от сна. Он увидел хозяина, хозяйку, их заведение, придержал лошаадь и подозвал ординарца.

Затем, все еще сидя верхом, он очень внимательно оглядел и дом, и все, что его окружало.

Фурнишон, прыгая через две ступеньки, буквально скатился с лестницы, стоял теперь у дверей и мял в руках сдернутый с головы колпак.

Капитан, поразмыслив несколько секунд, спешился.

— Что, здесь у вас никого нет? — спросил он.

— В настоящий момент нет, сударь, — ответил хозяин, страдая от столь унижительного признания.

И он уже собирался добавить: «Но это редкий случай».

Однако г-жа Фурнишон была, как почти все женщины, гораздо пронизательнее мужа. Поэтому она и поторопилась крикнуть из своего окна:

— Если вы, сударь, ищете уединения, вам у нас будет очень хорошо.

Всадник поднял голову и, выслушав такой приятный ответ, увидел теперь и весьма приятное лицо. Он, в свою очередь, сказал:

— В настоящий момент — да, именно этого я ищу, хозяйюшка.

Госпожа Фурнишон тотчас же устремилась навстречу посетителю, говоря про себя:

«На этот раз почин кладет «Розовый куст любви», а не «Меч гордого рыцаря».

Капитан, привлечший в данное время внимание супругов Фурнишон, заслуживает также внимания читателя. Это был человек лет тридцати — тридцати пяти, которому можно было дать двадцать восемь, так следил он за своей внешностью. Он был высокого роста, хорошо сложен, с тонкими, выразительными чертами лица. Хорошо приглядевшись к нему, может быть, и удалось бы обнаружить в его величавости некоторую аффектацию. Но величавость — наигранная или нет — у него все же была. Он бросил

на руки своего спутника поводья великолепного коня, нетерпеливо бившего копытом о землю, сказав при этом:

— Подожди меня здесь, а пока поводи коней.

Солдат взял поводья и принялся выполнять приказание.

Войдя в большой зал гостиницы, капитан остановился и с довольным видом огляделся по сторонам.

— Ого! — сказал он. — Такой большой зал, и ни одного посетителя. Отлично!

Мэтр Фурнишон взирал на него с удивлением, а г-жа Фурнишон понимающе улыбнулась.

— Но, — продолжал капитан, — значит, или в вашем поведении, или в вашем доме есть что-то отталкивающее гостей?

— Ни того, ни другого, слава богу, нет, сударь! — возразила г-жа Фурнишон. — Но квартал еще мало заселен, а насчет клиентов мы сами разборчивы.

— А, отлично! — сказал капитан.

Тем временем мэтр Фурнишон, слушая ответы своей жены, удостоивал подтверждать их кивками головы.

— К примеру сказать, — добавила она, подмигнув так выразительно, что сразу понятно было, кто придумал название «Розовый куст любви», — за одного такого клиента, как ваша милость, мы охотно отдадим целую дюжину.

— Вы очень любезны, прелестная хозяйюшка, благодарю вас.

— Не угодно ли вам, сударь, попробовать нашего вина? — спросил Фурнишон, стараясь, чтобы голос его звучал как можно менее хрипло.

— Не угодно ли осмотреть жилые помещения? — спросила г-жа Фурнишон так ласково, как только могла.

— Сделаем, пожалуй, и то и другое, — ответил капитан.

Фурнишон спустился в погреб, а супруга его, указав гостю на лестницу, ведущую в башенки, первая стала подниматься вверх: при этом она кокетливо приподнимала юбочку, и от каждого ее шага поскрипывал изящный башмачок истой парижанки.

— Сколько человек можете вы здесь разместить? — спросил капитан, когда они поднялись на второй этаж.

— Тридцать, из них десять господ.

— Этого недостаточно, прелестная хозяйка, — ответил капитан.

— Почему же, сударь?

— У меня был один проект, но, видно, не стоит и говорить о нем.



— Не угодно ли вам, сударь, попробовать нашего вина? —
спросил Фурнишон.

— Ах, сударь, не найдете вы ничего лучше «Розового куста любви».

— Как так «Розового куста любви»?

— Я хочу сказать «Гордого рыцаря». Разве что Лувр со всеми своими пристройками...

Посетитель как-то странно поглядел на нее.

— Вы правы, — сказал он, — разве что Лувр... — Про себя же он пробормотал: — Почему же нет? Так, пожалуй, было бы и удобнее и дешевле. Так вы говорите, добрейшая хозяйюшка, — продолжал он громко, — что вы могли бы разместить здесь на ночлег тридцать человек?

— Да, конечно.

— А на один день?

— А на один день человек сорок, даже сорок пять.

— Сорок пять! Тысяча чертей! Как раз то, что нужно.

— Правда? Вот видите, как удачно получается!

— И так разместить, что у гостиницы не произойдет никакой давки?

— Иногда, по воскресеньям, у нас бывает до восьми — десяти человек военных.

— И перед домом не собирается толпа, среди соседей нет соглядатаев?

— О, бог мой, нет. С одной стороны у нас сосед — достойный буржуа, который ни в чьи дела не вмешивается, а с другой соседка, дама, ведущая совсем замкнутый образ жизни; за те три недели, что она здесь проживает, я ее даже и не видела. Все прочие — мелкий люд.

— Вот это меня очень устраивает.

— И тем лучше, — заметила г-жа Фурнишон.

— Так вот, ровно через месяц, — продолжал капитан, — помните хорошенько, сударыня, — ровно через месяц...

— Значит, двадцать шестого октября...

— Совершенно верно, двадцать шестого октября.

— Так что же?

— Так что на двадцать шестое октября я снимаю вашу гостиницу.

— Всю целиком?

— Всю целиком. Я хочу сделать сюрприз своим землякам — это все офицеры или, во всяком случае, в большинстве своем военные — они собираются искать счастья в Париже. За это время им сообщат, чтобы они остановились у вас.

— А как же их об этом известят, раз вы намереваетесь сделать им сюрприз? — неосторожно спросила г-жа Фурнишон.

— Ах, — ответил капитан, явно раздосадованный этим вопросом, — ах, если вы, тысяча чертей, любопытны или нескромны...

— Нет, нет, сударь, — поспешно вскричала испуганная г-жа Фурнишон.

Муж ее все слышал. От слов «офицеры» или, во всяком случае, «военные» сердце его радостно забилось.

Он тотчас же бросился к гостю.

— Сударь, — вскричал он, — вы будете здесь хозяином, неограниченным повелителем, и никому, бог ты мой, даже не вздумается задавать вам вопросы. Все ваши друзья будут радушно приняты.

— Я не сказал «друзья», любезный, — заметил высокомерным тоном капитан, — я сказал «земляки».

— Да, да, земляки вашей милости, это я ошибся.

Госпожа Фурнишон раздраженно отвернулась: розовый куст, ошетилившись, превратился в груды составленных вместе алебард.

— Вы подадите им ужин.
— Слушаюсь.
— Вы устройте их на ночлег, если к тому времени я не подготовлю им помещение.
— Обязательно.
— Словом, вы будете всецело к их услугам, — и никаких расспросов.
— Все сделаем, как прикажете.
— Вот вам тридцать ливров задатку.
— Договорились, монсеньор. Мы устроим вашим землякам королевский прием. И если бы вы пожелали убедиться в этом, отведав вина...
— Спасибо, я вообще не пью.

Капитан подошел к окну и подозвал ординарца, оставшегося с лошадьми.

Тем временем мэтр Фурнишон кое о чем поразмыслил.

— Монсеньор, — сказал он (получив три пистоля, так щедро выданные ему в задаток, мэтр Фурнишон стал именовать своего гостя монсеньором). — Монсеньор, а как же я узнаю этих господ?

— Правда ваша, тысяча чертей! Я ведь совсем забыл. Дайте-ка мне сургуча, бумаги и свечу.

Госпожа Фурнишон тотчас же принесла требуемое. Капитан приложил к кипящему сургучу драгоценный камень кольца, надетого на палец его левой руки.

— Вот, — сказал он, — видите это изображение?

— Красавица, ей-богу.

— Да, это Клеопатра. Так вот, каждый из моих земляков представит вам такой же точно отпечаток, а вы окажете гостеприимство подателю этого отпечатка. Понятно?

— На сколько времени?

— Сам еще не знаю. Вы получите соответствующие указания.

— Так мы их ждем.

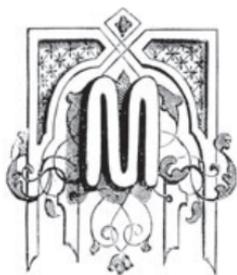
Прекрасный капитан сошел вниз, вскочил в седло и пустил коня рысью.

В ожидании, пока он вернется, супруги Фурнишон положили в карман свои тридцать ливров задатка, к величайшей радости хозяина, беспрестанно повторявшего:

— Военные! Вот видишь, вывеска-то себя оправдала, мы разбогатеем от меча!

И, предвкушая наступление 26 октября, он принялся до блеска начищать все свои кастрюли.

Глава VIII СИЛУЭТ ГАСКОНЦА



ы не осмелились бы утверждать, что г-жа Фурнишон проявила всю ту скромность, которой требовал от нее посетитель. К тому же она, вероятно, считала себя свободной от каких-либо обязательств по отношению к нему, поскольку в вопросе о «Мече гордого рыцаря» он оказал поддержку ее мужу. Но так как ей предстояло угадать гораздо больше того, что было сказано, она начала с подведения под свои догадки прочных оснований, именно — с попыток разузнать, кто же был неизвестный всадник, который так щедро оплачивал гостеприимство для своих земляков. Поэтому она не преминула спросить у первого же попавшегося ей на глаза солдата, как зовут капитана, проводившего в тот день учение.

Солдат, по характеру своему, вероятно, более осторожный, чем его собеседница, прежде всего осведомился, по какому поводу она задает ему этот вопрос.

— Да он только что вышел от нас, — ответила г-жа Фурнишон, — он с нами беседовал, и, естественно, нам хотелось бы знать, с кем мы разговаривали.

Солдат рассмеялся.

— Капитан, проводивший учение, не стал бы заходить в «Меч гордого рыцаря», госпожа Фурнишон, — сказал он.

— А почему, скажите, пожалуйста? — спросила хозяйка. — Что, он для этого слишком важный барин?

— Может быть.

— Ну так я скажу вам, что он не ради себя лично заходил в гостиницу «Гордого рыцаря».

— А ради кого?

— Ради своих друзей.

— Капитан, проводивший сегодня учение, не стал бы размещать своих друзей в «Мече гордого рыцаря», ручаюсь в этом.

— Однако же вы не очень-то с нами любезны. Кто же этот господин, который слишком знатен, чтобы размещать своих друзей в лучшей парижской гостинице?

— Вы спрашиваете о том, кто сегодня проводил учения, ведь правда?

— Разумеется.

— Ну так знайте, милая дамочка, что проводивший сегодня учение — это не кто иной, как господин герцог Ногаре де Ла

Валетт д'Эпернон, пэр Франции, генерал-полковник королевской инфантерии и даже немножко больше король, чем само его величество. Ну, что вы на это скажете?

— Скажу, что если это он был у нас сегодня, то нам оказана большая честь.

— Употреблял он при вас выражение «тысяча чертей»?

— Да, да! — сказала на это г-жа Фурнишон, которая видела на своем веку немало удивительных вещей, и выражение «тысяча чертей» не было ей совсем незнакомо.

Можно представить себе, с каким нетерпением ожидалось теперь 26 октября.

Двадцать пятого вечером в гостиницу вошел какой-то человек и положил на стойку Фурнишона довольно тяжелый мешок с монетами.

— Это за ужин, заказанный на завтра.

— По сколько на человека? — спросили вместе оба супруга.

— По шесть ливров.

— Земляки капитана откушают здесь только один раз?

— Один.

— Значит, капитан нашел для них помещение?

— Видимо, да.

И посланец удалился, так и не пожелав отвечать на расспросы «Розового куста» и «Меча».

Наконец вождь денное утро забрезжило над кухнями «Гордого рыцаря». В монастыре августинцев часы пробили половину двенадцатого, когда у дверей гостиницы остановились какие-то всадники, спешили и зашли в дом.

Они прибыли через ворота Бюсси и, вполне естественно, оказались первыми, прежде всего потому, что у них всех были лошади, а затем ввиду того, что гостиница «Меча» находилась в каких-нибудь ста шагах от ворот Бюсси.

Один из них, которого по его бравому виду и богатой экипировке можно было принять за их начальника, явился даже с двумя слугами на добрых лошадях.

Каждый из прибывших предъявил печать с изображением Клеопатры и был весьма предупредительно принят супругами, в особенности молодой человек с двумя лакеями.

Однако, за исключением этого последнего, гости вели себя довольно робко и даже казались несколько обеспокоенными. Видно было, особенно когда они машинально дотрагивались до своих карманов, что их одолевают немаловажные заботы.

Одни заявляли, что хотели бы отдохнуть, другие выражали желание прогуляться по городу перед ужином. Молодой чело-

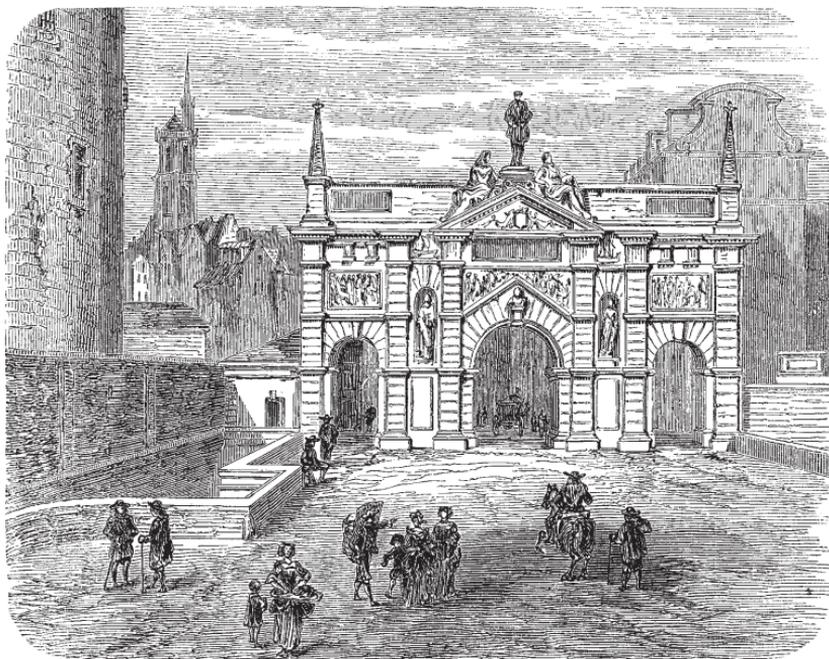


Двадцать пятого вечером в гостиницу вошел какой-то человек и положил на стойку Фурнишона довольно тяжелый мешок с монетами.

век с двумя слугами спросил, что новенького можно увидеть в Париже.

— А вот, — сказала г-жа Фурнишон, которой бравый кавалер пришелся по вкусу, — если вы не боитесь толпы и вам ни-почем простоять на ногах часа четыре, можете пойти поглядеть, как будут четвертовать господина де Сальседа, испанца, устроившего заговор.

— Верно, — сказал на это молодой человек, — верно, я об этом деле слыхал. Обязательно пойду, черт побери!



СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

<i>Глава I.</i> Сент-Антуанские ворота	7
<i>Глава II.</i> Что происходило у Сент-Антуанских ворот	15
<i>Глава III.</i> Проверка	26
<i>Глава IV.</i> Ложа его величества короля Генриха III на Гревской площади.	33
<i>Глава V.</i> Казнь	44
<i>Глава VI.</i> Братья Жуазез	54
<i>Глава VII.</i> Как «Меч гордого рыцаря» возобладал над «Розовым кустом любви»	65
<i>Глава VIII.</i> Силуэт гасконца.	74
<i>Глава IX.</i> Господин де Луаньяк	83
<i>Глава X.</i> Скупщик Кирас	91
<i>Глава XI.</i> Снова лига	101
<i>Глава XII.</i> Опочивальня его величества Генриха III в Лувре. . . .	108

<i>Глава XIII.</i> Спальное помещение	119
<i>Глава XIV.</i> Тень Шико	128
<i>Глава XV.</i> О том, как трудно бывает королю найти хорошего посла	142
<i>Глава XVI.</i> Как и по каким причинам умер Шико	154
<i>Глава XVII.</i> Серенада	161
<i>Глава XVIII.</i> Казна Шико	170
<i>Глава XIX.</i> Аббатство Святого Иакова	175
<i>Глава XX.</i> Два друга	181
<i>Глава XXI.</i> Собутыльники	188
<i>Глава XXII.</i> Брат Борроме	197
<i>Глава XXIII.</i> Урок	206
<i>Глава XXIV.</i> Духовная дочь Горанфло	212
<i>Глава XXV.</i> Западня	220
<i>Глава XXVI.</i> Гизы	232
<i>Глава XXVII.</i> В Лувре	236
<i>Глава XXVIII.</i> Разоблачение	241
<i>Глава XXIX.</i> Два друга	247
<i>Глава XXX.</i> Сент-Малин	255
<i>Глава XXXI.</i> Как господин де Луаньяк обратился к Сорока пяти с краткой речью	263
<i>Глава XXXII.</i> Господа парижские буржуа	273

Часть вторая

<i>Глава I.</i> Опять брат Борроме	285
<i>Глава II.</i> Шико-латинист	292
<i>Глава III.</i> Четыре ветра	298
<i>Глава IV.</i> Как Шико продолжал свое путешествие и что с ним случилось	305
<i>Глава V.</i> Третий день путешествия	313
<i>Глава VI.</i> Эрнотон де Карменж	318
<i>Глава VII.</i> Конный двор	326
<i>Глава VIII.</i> Семь грехов Магдалины	333
<i>Глава IX.</i> Бель-Эба	342
<i>Глава X.</i> Письмо господина де Майена	352
<i>Глава XI.</i> Как дом Модест Горанфло благословил короля перед монастырем Святого Иакова	359

<i>Глава XII.</i> О том, как Шико благословлял короля Людовика XI за изобретение почты и как он решил воспользоваться этим изобретением	369
<i>Глава XIII.</i> Как король Наваррский догадался, что Turennius значит Тюренн, а Margota — Марго.	378
<i>Глава XIV.</i> Аллея в три тысячи шагов	385
<i>Глава XV.</i> Кабинет Маргариты.	392
<i>Глава XVI.</i> Перевод с латинского	398
<i>Глава XVII.</i> Испанский посол	405
<i>Глава XVIII.</i> Король Наваррский раздает милостыню	411
<i>Глава XIX.</i> С кем в действительности проводил ночь король Наваррский.	422
<i>Глава XX.</i> Об удивлении, испытанном Шико, когда он убедился, насколько хорошо его знают в Нераке	429
<i>Глава XXI.</i> Обер-егермейстер короля Наваррского.	442
<i>Глава XXII.</i> О том, как в Наварре охотились на волков	447
<i>Глава XXIII.</i> О том, как вел себя король Генрих Наваррский, когда впервые пошел в бой	455
<i>Глава XXIV.</i> О том, что происходило в Лувре приблизительно в то время, когда Шико вступил в Нерак.	466
<i>Глава XXV.</i> Белое перо и красное перо	478
<i>Глава XXVI.</i> Дверь открывается	486
<i>Глава XXVII.</i> О том, как знатная дама любила в 1586 году	492
<i>Глава XXVIII.</i> О том, как Сент-Малин вошел в башенку и к чему это привело	506
<i>Глава XXIX.</i> О том, что происходило в таинственном доме	515
<i>Глава XXX.</i> Лаборатория	523
<i>Глава XXXI.</i> О том, что делал во Фландрии монсеньор Франсуа, принц Французский, герцог Анжуйский и Брабантский, граф Фландрский	529
<i>Глава XXXII.</i> О том, как готовились к битве	539
<i>Глава XXXIII.</i> Монсеньор	549

Часть третья

<i>Глава I.</i> Монсеньор (Продолжение).	557
<i>Глава II.</i> Французы и фламандцы	563
<i>Глава III.</i> Путники	575

<i>Глава IV.</i> Объяснение	583
<i>Глава V.</i> Вода	591
<i>Глава VI.</i> Бегство	599
<i>Глава VII.</i> Преображение	611
<i>Глава VIII.</i> Два брата	615
<i>Глава IX.</i> Поход	622
<i>Глава X.</i> Павел Эмилий	629
<i>Глава XI.</i> Герцог Анжуйский предается воспоминаниям	636
<i>Глава XII.</i> Попытка подкупа	651
<i>Глава XIII.</i> Путешествие	661
<i>Глава XIV.</i> О том, как король Генрих III не пригласил Крильона к завтраку, а Шико сам себя пригласил	668
<i>Глава XV.</i> О том, как Генрих, получив известия с юга, получил вслед за тем известия с севера	679
<i>Глава XVI.</i> Кумовья	688
<i>Глава XVII.</i> «Рог изобилия»	696
<i>Глава XVIII.</i> Что произошло у мэтра Бономе за перегородкой	702
<i>Глава XIX.</i> Муж и любовник	718
<i>Глава XX.</i> О том, как Шико начал разбираться в письме герцога де Гиза	726
<i>Глава XXI.</i> Кардинал де Жуазе	734
<i>Глава XXII.</i> Сведения о д'Орильи	744
<i>Глава XXIII.</i> Сомнения	748
<i>Глава XXIV.</i> Уверенность	755
<i>Глава XXV.</i> Судьба	763
<i>Глава XXVI.</i> Госпитальерки	771
<i>Глава XXVII.</i> Его светлость монсеньор герцог де Гиз	781